

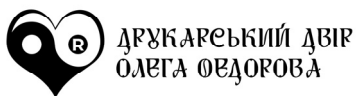
ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ КОРПУС СТИХОТВОРЕНИЙ И ПОЭМ



Дмитрий
БОБЫШЕВ

КОРПУС
СТИХОТВОРЕНИЙ
И ПОЭМ

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА





Дмитрий
БОБЫШЕВ

КОРПУС
СТИХОТВОРЕНИЙ
И ПОЭМ

ММХХVI

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2026

УДК 821.161.1-1(73)

Б 728

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована в 2023 році

*Автор виражає свою глибоку благодарність
видавецьким книжки Андрею Гуцину, Олегу Фёдорову
і Борису Марковському*

Бобышев Д.

Б 728 Корпус стихотворений і поэм. / Д. Бобышев —
Друкарський двір Олега Федорова 2026 — 500 с.

ISBN 978-617-8832-20-9

Ета книга собрана Дмитриєм Бобышевим як ітог его поэтического творчества в течение многих десятилетий. В неї вошли стихи і поэм, написанні в ленинградський період життя, то єсть от середини 50-х до кінца 70-х, когда он емігрував в Америку. Большинство из них не были напечатаны на родине из-за неприятия автором цензурних канонів і потому циркулировали в самиздате или переправлялись на Запад і печатались в зарубешных изданиях. Это была любовная і пейзажная лирика со скрытыми в неї гражданскими мотивами, а также стихи і поэм философского, метафизического і религиозного содержания. Последователь Ахматовой, которая посвятила ему «Пятую розу», он создал свой полифонический стиль, названный им «прекрасной сложностью» в отличие от «прекрасной ясности» акмеизма. В эту книгу вошли также произведения Бобышева из множества периодических изданий русского Зарубежья і поэтических сборников, вышедших в разных странах.

УДК 821.161.1-1(73)

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)

ISBN 978-617-8832-20-9

© Бобышев Д., 2026

© Федоров О.М., видавець, Київ 2026

КОРПУС БОБЫШЕВА

Дмитрий Бобышев родился в Мариуполе в 1936 году, вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. В 1963 году Анна Ахматова посвятила ему стихотворение «Пятая роза». На Западе с 1979 года. Поэт, переводчик, эссеист, профессор эмеритус Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

Книги стихов: «Стихотворения, 1956 — февраль 1963» («Бэ-Та» Ленинград, 1963); «Зияния» (УМСА, Париж, 1979); «Звери св. Антония» (Нью-Йорк, 1985, совместно с Михаилом Шемякиным); «Полнота всего» (Санкт-Петербург, 1992); «Русские терцины и другие стихотворения» (Санкт-Петербург, 1992); «Ангелы и Силы» (Нью-Йорк, 1997); «Жар-Куст» (Париж, 2003); «Знакомства слов» (Москва, 2003); «Ода воздухоплаванию» (Москва, 2007); «Зима» (Москва, 2012, совместно с Виктором Гоппе); «Чувство огромности» (Франкфурт-на-Майне, 2017); «Петербургские небожители и другие поэмы» (Liberty, Нью-Йорк, 2020); «Февраль на Таврической улице» (Пальмира, СПб / Москва, 2022).

Автор-составитель раздела «Третья волна» в «Словаре поэтов русского зарубежья» (Санкт-Петербург, 1999), автор многочисленных эссе о поэзии, опубликованных в русской и англоязычной периодике.

Автор тетралогии литературных воспоминаний «Человекотекст»: «Я здесь» (кн. 1, Москва, 2003) и «Автопортрет в лицах» (кн. 2, Москва, 2008). Кн. 3 «Я в не-тях» печаталась внутри публикаций трилогии в журналах «Юность» и «7 искусств». Полностью «Человекотекст» в исправленном и обновлённом виде выпущен

издателем Чарльзом Шлаксом (Charles Schlacks, Idyllwild CA, 2014): <http://www.amazon.com/dp/188444573X>. Кн. 4 «ЗЫ, или Post Scriptum» вышла как дополнение к трилогии (Семь искусств, Ганновер. 2020). Автор книги эссе о поэзии «Поющая истина» (Киев, 2025).

Входит в редколлегии журналов «Слово/Word» (Нью-Йорк), «Эмигрантская лира» (Льеж, Бельгия), альманахов «Связь времён» (Сан-Хосе, Калифорния) и «Новый Гильгамеш» (Киев, Украина). Персональный сайт: <https://dbobyshev.wordpress.com>

*Какая яркая — огня и льда слиянья,
и — силится внушить пульсирующий знак!
Я мог его понять, но только сам сияя,
сияя, — что давно и далеко не так.*

НЕСКОЛЬКО ПЕРВЫХ ЦВЕТОВ

Тогда, в начале дня, в начале месяца
Я нёс к тебе весеннее созвездье.
Должно быть,
И нелепо, и потешно
Я шёл, как с чистой склянкою аптечной.

Ты мыла волосы. Ты не хотела выйти.
Как будто с возрастом
 во взрослых можно вырасти.
Должно быть,
 так потешно, так застенчиво
Я нёс его в ладонях, словно птенчика.

Весеннее прохладное созвездье,
Оно ночами
 из-под снега светится.
Нечаянно приснится мне.
Нечаянно.
Как ты.
 Ах, это всё было в начале.

май 1958

* * *

К. П.

Где ты бываешь?
Где ты забываешь
Мои уходы, шорохи, касанья?
Кому согласно головой киваешь,
отломленную веточку кусая?

Твоя совсем заброшенная комната,
она живёт, она грустит о ком-то.
Чужие люди ходят, курят.
Позвякивают стёкла по ночам.

Где ты вчера была?
Какую
ты песню пела поначалу?

И плакала, кусая веточку,
и проходила мокрым парком.
И кто-то знающий и сведущий
тебя утешил летним Парголовом.

Твоя оставленная комната,
она живёт, она грустит о ком-то.
Постукивают доски по ночам.

Где я найду тебя, такую,
какую знал я поначалу?
Где, из провалов, рёбер, ям,
та лестница
кошачья, окаянная?
На самом поступе к дверям
я грохнусь о неё коленями.
Ведь лестница
и та под мною ластится!

А ты идешь себе...
И только дождь
вгоняет в землю тоненькие клинья.
И в городе идет такой же ливень,
и он, не хуже и не лучше,
у рюмочных и поликлиник
похожие разводит лужи.

А ты уходишь...
Ты сама не знаешь,
куда уходишь?
Где ты забываешь?

1958

МИННЕ

Присылай мне письма, пересылай мне
письма, проткнутые одним желаньем,
письма в форме сердец,
в форме птиц остропёрых,
кораблей с белорамной оснасткой.
Одной стрелюю — все насквозь.
Пробитые, опрокинутые конверты
через термометры, паровозы и рельсы.
Это оклеенные, исковерканные
рыденья далёкие, апрельские.

1959

* * *

Н. К.

Со мною девочка идёт, Наталья.
Ты словно туфелька, моя Натальюшка,
и словно лодочка, надо льдами
ты на ледышки, идешь, наталкиваешься.

У школьников в пеналах — марки,
в портфелях мокрые лежат тетради...
Мы школьники с тобою в марте,
на завтраки мы все потратили.

И улицы для нас проветрены,
начищены, блестят как никелевые.
И все деревья стоят приветливые,
и скоро белые наши каникулы.

О, ракушка на море летняя,
о, как укачивает глубина!
Ты — донышко мое последнее,
откроешься — и нету дна...

И небо — звёздами и медузами,
земля — пещерами и дверями
сквозят, просвечивая донизу,
и кажутся совсем дырявыми.

И девочка над миром тающим,
проветренная и сквозная —
ветрами теплыми, налетающими,
и ты просвечиваешь, я знаю!

март 1958

СОЛДАТСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Владимиру Уфлянду

Ты сегодня устала. Спи себе.
По уставу
Пишутся письма.
Он приходит обычно к ночи,
Треугольный солдатский почерк.

Полистаешь его у лампы,
Переставишь её

Поближе.
Ты сегодня устала.
Легла бы, слышишь?

Тундра.
Трудно. Рабочий ветер.
Он настёгивает гимнастёрку
Из холста беззащитного цвета.
Это там,
На конце ответа.
Говорят о далёких семьях.
Ковыряют
Мёрзлую землю.

Трудно.
Тундра. Идут оттуда
Поздним часом солдатские письма.
Попечалься,
и спи себе...

1956

ТАМ БЫЛИ ДОМА

Там был дом,
на другом
берегу.
У солдат был там перекур.
Там был дом.
Люди жили в нём.
А солдаты пришли потом.
Люди жили в нём
перед этим.

Утром — тихо. А днём
пели дети.
А солдаты шли по дороге,
видят — дом.
У деревьев сломали ноги,
разожгли с трудом.
Слушали, как один поёт,
через тело — шрамы,
разворачивали поёк,
шелестели, жрали.
Покурили. Потом огонь
затоптали своей ногой.
И ушли.
И конец на том.
Там был дом.
Там
был
дом.

1956

* * *

Когда пойдёт военный эшелон
мобилизованных, задумчивых, не шустрых,
вдыхающих особо тяжело,
мой друг, давай
преувеличим чувства!
Вот девочка — последнее знакомство,
улыбка у вокзального навеса,
припоминай! Хватай себя за космы,
люби её! Она — твоя невеста!
А тот — вчера — оборванный, стоит,
с глазами — из лохмотьев, из бород,
в слезах. Он кто? Он, думаешь, старик?

Вот человек!
На столь короткий срок
ему отпущено любви и хлеба.
Ан грудь отталкивает сосунок
и тычет пальцем в небо!

А где, скажите, дворник проживает?
Где горб и мозоли наживает?
Где метлы и щетки,
лопаты его и скребки?
Ему работы до чорта
доставят окурки и коробки.

А человек!
На сколь короткий срок
тебе отпущены безумства и болезни.
ты неудачный времени сынок,
бредущий по разбитой лестнице.

Так починяй перила на земле
и отремонтируй дворнику жильё.
Он проживает тоже на земле
и честно моет и скребет ее.

анварь 1959

ФЕВРАЛЬ НА ТАВРИЧЕСКОЙ УЛИЦЕ

Как из конверта выкатилось колечко,
уехала девочка, лампочка моя стеклянная.
Как выкатились орехи из кулёчка,
уехала моя ненаглядная.

Для меня конверты, календари и марки,
для тебя колёса, ключи и качели
одинаково напоминают о марте,
о времени возвращения.

А фотографии мечутся в феврале,
раскачивают в ванночке твои лица,
и что-то неладное в феврале
со вторниками творится.

Сегодня вторник и завтра вторник.
Февраль — это вторник несоразмерный.
И в коричневой темноте фотограф
мокрые личики твои развесил.

Разлучает, раскачивает февраль-гололёд
расстоянием, водой и оградами.
Он и гладит, и льёт, он и гладит и льёт,
шлёт и письма, и фотографии.

1959

ПЕСЕНКА ИЗ КИНО

Словно четыре стороны,
открыто расстояние,
словно глядят астрономы
на лунного крестьянина.

словно дорога млечная,
дорога вдаль течёт.
Любые вздохи лечит,
как доктор — звездочёт.

Он из землянки выглянул
земного поселения,
толкал, толкал, и вытолкнул
свой штепселёк селеновый.

На берегу Вода-реки
теперь кинотеатр,
включай свои фонарики,
отыскивай свой ряд.

Гляди в звездные волости,
перелагай на пение,
как скрещенными вёслами
гребёт Кассиопея.

Глядит, глядит, заплаканна,
звезда Мишель Легран,
течёт туманность Ладога
в серебряный экран.

А звёзды так устроены,
как рюмки в ресторане,
и как четыре стороны
открыто расстояние.

окт. 1959

* * *

Земли-планеты населённый глобус,
он катится, как голубой автобус.
Он катится, как маленький автобус.
Внутри, послушай, слышны голоса.
С недоумением, что это за область,
Выглядывают малые глаза.

Ты, девочка, разглядывай и слушай:
вот шар земной. Какой счастливый случай,
что уцелел он, в глуби затая
творожистую массу бытия.

В нём и твоё, твоё в нём существо.
Ты радости живое вещество.
Ты нежный паровой металл,
который мне светить не перестал.
Фонарик твой зелёный, огородный
меня по всем мирам сопровождал,
по всем обсерваториям огромным.

Вселенной удалённые окрестности,
вы — светлые сгорающие крепости,
вы — трубы серебряно-медные,
поющие чуть громче тишины.
Прекрасными своими инструментами
вы словно в молоко погружены...

Но возвращайся, надо возвратиться
и над землёю не забыть остановиться.
Прислушаться: в молчании огромном
за колыбелькой, колыбелькой, огорожен,
гуляет Гоголь, говорит с Тургеневым,
проходят гуси в розовых калошах.

Прислушаться: в молчании органном
крик новорожденных и зрелый крик торговли.

Земли-планеты постоянны признаки.
Мы их любить, но и менять их призваны.
Словно крестьяне — зная каждый выгон,
словно земляне — так и не привыкнув.

1959

Итак, я верный Ваш полупоклонник.
Пардон. Полупардон-полуприказ:
Хотите стать звездой кинохроник?
Так спойте же тихонечко для нас.

Сравните, Нонна, наши музы, Нонна,
Сравните души и спасите их.
Они представляются так обновлённо, Нонна,
Что и грешно, и стыдно видеть их.

Они представляются так обнажённо,
Как в поликлинике ужасный мой скелет.
И скушно мне, и помогите, Нонна,
Достать мне помогите пистолет.

Ах, мне довольно в жизни уж нотаций,
И я не жил, я Вами только бредил.
Билет оставив в урне, плащ в передней,
Я в зал вхожу, я к Вам иду на танцы.

И сразу — девочка и девочка,
Две девочки танцуют.
А что поделаешь, никто не приглашает.

Здесь так естественно извёстка позлащёна,
Любовь так натурально расторопна.
Так почему же пиво пьёт сладёна,
Употребляет бриолин растрёпа?

А эта девочка сладёна,
Похожая фигурой на диван,
Танцует, танцует,
А с нею мальчик, наверно, хулиган.

А рядом девочка растрёпа —
Похожа на стиральную доску...
Танцует тоже,
И с нею мальчик, тоже, наверно, хулиган.

А Нонна головою всем качает
И стройными ногами для всех перебирает.

А рядом девочка пипирочка
Похожа на свистульку,
Танцует, флиртует
и складывает парню фигу-дульку.

Потом исчезла за фанеркой,
теперь опрятно писает в стакан.
И ждёт её, и ждёт он перед дверкой
Всё тот же мальчик, тот же хулиган.

А Нонна головою всем качает,
Сама не зная, как она меня спасает.

Настройте, Нонна, и меня на этот лад,
Чтоб жить и лгать, плести о жизни сказки
И раздавать бы скромный свой талант,
Как раздаёте Вы мотив американский.

Словно консервную даёте вы тушёнку,
Дешёвую — на бедность,
Как бы Евгений Евтушенко,
Столь поразивший современность.

февр. 1960

ДОМ КНИГИ

Солидарность, — кричу, — солидарность!
Соблюдая упрямото осла.
Двадцатипятилетня давность
От рожденья меня унесла.

По проспекту меня протащила,
Процарапала плоть до кости,
Да и бросила — вот ты мужчина,
Разбирайся, чего же достиг.

Разбираюсь, гляжу — магазины
Предо мною волочит проспект.
Всё пижоны мелькают, грузины,
А друзей моих нет тут, как нет.

Из каких же вернулся я странствий,
Что, увы, даже выпить мне не с кем.
Остаётся пройтись иностранцем
Или глухонемым, наконец.

Ах, мой Невский,
Мой маленький Невский,
Литл Невский, пти Невский, птенец.

А Нева — это городу ванна,
Это горлу компресс, влажный шарф.
От простудного продувань
Я укрыться хочу в книжный шкаф.

Я — за створку, я — на антресоли
Хитрой мышкой сожмусь в уголку.
Только снова найдут, опозорят,
Снова выдворят, и ни гу-гу.

Что ж, вали меня с мусором в урну,
Где куражится каждый юнец,
Утверждая, что литература —
Это дура, лишь он молодец.

Но не с этими я портачами,
Я с почтением ем твои книги,
Ведь они утоление печалей
Обещают решительно всем.

Ах, Дом Книги,
ах, милый дом Фиги,
Дом вязиги, ах, я тебя съем!

Накормите голодное ухо
Хоть сухариком. Ведь этот дом —
Кухня слова, столовая духа
В доме города дорогом.

Только ясность кристального читива
Подозрительна именно там,
Где она будто мёд, словно пиво,
Размягчённо течёт по губам.

Я берусь отличить их по роже,
Кто читатель, а кто верхогляд.
Вот он — с будкой, с башкою порожней,
Как Авраменко, сыт и усат.

Даже книгопродавице, детке,
Даже Люсеньке сладки для слуха
Книжки-булочки, книжки-конфетки,
Предпочтительней всех — ананас!
Вот, приятель, какая проруха.
Очевидно, Парнас не про нас.

— Убейте меня, что ли, дорогая.
Любовь вас не полюбит никогда.

Но и меня любовь уже не лечит,
а из угла прожорливо глядит.
Сама уже несчастьем не перечит,
сама — несчастье, так она звучит:

звонит, звонит надсадною струною
и начинает в ухе звезденеть,
и голос свой примешивают к вою
не смерть, но равнодушие и смерть.

Но и под грохот этого дуплета
улавливает слух военный гром.
Безумная тогда выходит Грета,
и Брейгеля дрожит серебряный дом.

Но тихо, тихарями, мастерами
идем мы на работу. Город спит.
И родина народными руками
добротное убийство мастерит.

Как много дел бесчестных и опасных
мы делаем усердно по утрам,
и кое-как сколачиваем наспех
бессмертие свое по вечерам.

А неслуха не любит век железный:
служи или молчи. Не замолчу.
Отец мой давний, сын мой неизвестный,
меня уж нет... Но вот же я, звучу.

*Таврическая улица
авг. 1961*

ПСАЛОМ

Хоть медью отрави, хоть мёдом
Отравленным наведайся в груди,
Хоть изучечь, а под огромным сводом
Гармонии отведать — награди.

Приплёлся я к тебе, о стоголосый,
С поклажей безголосости твой сын.
И жилы мне сгрызает, струны, лозы
Конёк твой золотистый — клавесин.

Он тихие фонарики развесил,
Звонки свои, гудочки раздарил,
Он тихую передо мной разверзнул
Такую глубь, что я с последних сил:

— Дай, Ласковый, дай, Грозный, муку, —
Вскричал, — но покажи устройство горл,
дающих мёд и медь пустому звуку.
Гармонии отведать — я пришёл.

Пришёл, а над молчаньем, как над бездной,
Заклёпанный в оковах ураган.
Он просыпается, рычит и прёт, победный.
— Ну так скорей сжирай меня, орган.

И я уже подумал: всё, гибель,
Хоть струнами себя исполосуй.
А вышел Ты, узнал меня, увидел
И ликом показал: мол, поцелуй.

И голос дал, и глаз, и в руку биту
Свинцовую для верности вложил.
И молвил: — Ты мне службу б сослужил,
Когда партиту бы сыграть тебе, партиту.

март 1962

МАДРИГАЛ

Г. Н.

Тебя, красавица, не запретить,
когда тебе самой запретом быть,

и в комнате когда до потолка
строжайшая решётка — два замка.

Но значит дозволильницей слыть,
когда запретом быть, запретом быть.

Ты знаешь, так фонарь среди ветвей
безлиственных гнездо себе свивает,
как белые вокруг темноты твоей
рассветы белый свет располагает.

И так же точно, чёрный свет лия,
небесный мрак блистает отовсюду.
И странно улыбается моя
белесая душа ночному чуду.

И странное тогда заходит в грудь
словесное такое утешенье:
всю ночь прощаться с ночью — ночи суть,
а сердце сути всё-таки прощенье.

А гром цеповный, а запретов лес!
Но сколько б ты меня ни отсылала,
в прощальном поцелуе, наконец,
простительная страсть была начала.

Ты ночь сама. Ты свой сама запрет —
повсюду, но не рядом появляться.
Ох, милая, тебя бы мне... Ах, нет.
Тебя, красавица, хоть голосом касаться.

1962

ЕЩЁ БОЛЕЕ ЧЕМ РАНЬШЕ

Г. Н.

Километров редкий лес,
проводов железных трасса
растворяют твой отъезд
по всему меж нас пространству.

Каждый куст и каждый час,
звук отдельный в перестуке
растворяют — каждый — часть
соразмерно, часть разлуки.

С этим свойством не знаком,
создан силами влечения,
входит в сердце целиком
только образ твой вечерний.

Только ты, отдалена,
узнаёшь по праву страсти,
что и вправду страсть одна
нераздельная в пространстве.

И ещё узнаешь ты:
кто распробовал однажды,
до чего же той беды,
потрясённый, снова жаждет...

Но пока твой путь таков,
что заполнена разлука
шевеленьем облаков,
бездной воздуха и звука.

июнь 1962

СВИДАНИЕ

Я буду прятать,
а ты проверь,
что скрыло сердце,
а что портфель:

два узких следа
и узкий смех,
и два билета
к заливу в снег...

Дух можжевеловый,
в нём ты да я,
и эти жерла
желания.

Я стану путать,
но ты не верь —
в наш узкий номер
я помню дверь,

испуг и шопот,
и, сгоряча,
в два оборота
прокрут ключа...

И вдруг метелью
валило дом
с окном, с постелью
и кверху дном.

Была бы впору
нам эта связь
и до отъезда,
и возвратясь

двумя огнями
двух узких фар,
и — снег навстречу
на этот жар,

на свет, на скорость
и сквозь стекло.
Тебе натаяло,
мне натекло.

Меж двух каналов,
двух площадей
мы снова канули
среди людей,

людского леса
житья, жилья,
и неизвестно,
кто ты, кто я.

дек. 1962

* * *

Моя свобода и твоя отвага —
не выдержит их белая бумага,
и должен этот лист я замарать
твоими поцелуями, как простынь,
и складками, и пеплом папиросным,
и обещанием имен не раскрывать.

1962

* * *

Взгляд, отталкиванье, дыхание,
угол рта, шепоток «не надо»
и какая-то полыханная,
окаянная блазнь и привада.

И дырявят два нежных крика
угол комнаты, угол простыни...
Боже, странно-то как, и — и дико:
то мы стонем и таем, то стынем.

Светит время темно, словно угли,
и блестит, окаймляясь, полоска, —
здесь, на влажном виске у подруги
тушью тронута тонкая слёзка.

1970

* * *

В сердечный переплёт,
хочу я или нет,
затмение идёт,
потом опять рассвет.

Душой не покривлю,
когда скажу такое:
всех помню, всех люблю,
за всё плачу тоскою.

Влечение, разрыв,
надсада поцелуя
и в сердце перебив
навек, пока живу я.

Навек, навек, навек,
наверняка навечно
твоё дрожанье век
вошло в тот сбив сердечный.

И Ваше там лицо,
и твой смятённый вид,
а в глубине кольцо
дарёное блестит.

Начала и концы,
и слёзы посредине,
как будто леденцы
сластят, горчат отныне.

И вроде вышел срок,
а всё тоска одна.
И скудость этих строк
лишь ею решена...

Вот я и говорю —
и я чего-то стою,
коль за люблю, люблю
плачу тоской, тоскою...

сент. 1962

* * *

Зима-хрустальница, прости, что строгий блеск,
быть может, оскорбили мы весельем,
что скромное сверкание небес
не вяжется, прости, с моим везеньем.

Зима-зеркальница, припудри белый свет
пуховкой белою, подёрни серым лесом.
Сегодня, понимаю, твой запрет
я нарушаю чувством неуместным.

А уж весною тянет за версту,
уж не морозит, а знобит округу.
Зима-красавица, прости за красоту,
не застуди вконец мою подругу.

март 1963

ПОРТРЕТ

В. А-ич

По черному, вгоняя землю в дрожь,
зимы прошелся белый грифель,
зимы промчался черно-белый вихрь,
замахиваясь на меня, как нож
разбойничий. Бросая душу в дрожь.

По-черному пришла ко мне любовь.
Как птицы по ночам с насеста
срываются, нм оборвавши сердце,
разбив крылом и оцарапав бровь,
ресницы обломив, пришла любовь.

Такое ж обмиранье и испуг,
во рту такой же стукот дробный
и — крупно — глаз от близости огромный,
и шарф, и вырывание из рук,
как птицы крик ночной и вкривь и вдруг.

Да, образ твой меня, как мягкий нож,
грозя бедой, вгоняя душу в дрожь,
застал, застиг, как «Стой, подлец, молчи!» —
азартный крик грабителя в ночи
под окнами прохожих застает.
А выглянешь — одна зима идет.

По белому, роскошествуя черным,
но и не тратя все без толку,
то прутик выбелив, то затенивши елку,
то наспех кое-где черкнув вороной
над крышею, морозом убеленной,
она (не различу — зима? любовь?)
пришла, и белый шарф, и глаз, и бровь.

Февраль 1963

ИДИЛЛИЧЕСКАЯ ОДА

Людская речь себя навек хранит
в словах такого гордого покоя,
что только для произнесенья их
уходят люди в церковь или в поле.

Те словеса — что звезды по ночам,
и в тишине особенно громово
идут они, как бы из тех начал,
когда всего началом было Слово.

Вот потому и чувствует язык
во рту блаженный привкус русской речи,
и я к нему с годами не привык.
Я только стал заметно реже, реже,

лицо все реже к звёздам подымать,
сирень к лицу, а дно бокала к небу,
но, слава Богу, начал понимать
всю цену молоку, дровам и хлебу.

И речи незатейливой цена
передо мною подлинно предстала,
как на слова «Сегодня ты бледна...»
замедленный ответ «Я так устала!»

«Ну, посиди, я принесу дрова»,
потрогал печку: «Печь совсем остыла».
Из комнаты вдогон ему слова:
«Там холодно, надень-ка шубу, милый».

«Да незачем, я так». Закрылась дверь.
Потом открылась снова. Стук поленьев.
«Всё холодно?» — «Всё так же». — «А теперь?»
Она, помедлив: «Вот теперь теплее».

Сидят, молчат. И длится тишина,
и печки ненавязчивое пенье.
Не в этом ли молчании цена
какого-то — тверского, что ль, — терпенья?..

И смысл полубезмолвных этих слов,
где о любви не сказано ни слова,
не в том ли, что смиренность и любовь
их суть и речевая их основа.

А те сидят у печки. И опять
забота проступает сквозь дремоту —
она ему: «Ложись-ка, милый, спать»,
а он: «И то. Ведь завтра на работу».

январь 1964

БЕЛОЕ И ГОЛУБОЕ

Она белела именем своим,
и, стало быть, прожекторная рана,
которой тёмный берег был язвим,
так мучила меня светло и странно,
как это имя самое — Светлана.

Светлане льнули: пыльный мотылёк
и гладкое барахтанье дельфина,
и визги птиц, и я сказать бы мог —
весь темно-синий с золотом денёк,
но тут прошла другая половина,
и ею ведала уже Марина.

Марина все дела делила вдоль,
расчёсывала их светло и длинно
при том, что даль в лицо зевала львино,
при том, что в нас, обгладывая соль,
свободная потягивалась боль, —
всё вымывала взорами Марина.

Мариной, крутизной, голубизной
наполненный, шатался воздух пьяно,
а слаломная качка акваплана
как бы перелопачивала зной,
и в доску разогретою сосной
прохлада стлалась, и была Светлана.

Освоила она морской фасад
и пенную маринину лепнину.
Марина многоярусный закат
приноровила. И тридцатикрат
перешумело всё...
Те дни уже не вызволить назад,
не вызвать ни Светлану, ни Марину.

август 1967

ОБЛАКА

Сергею Зубковскому

Гляди почаще вверх и выше
на облаков небесных тишь,
гляди наверх, и ты увидишь,
как неподвижно ты стоишь.

Как неподвижная планета
непостижимо велика,
и в тишине над нею где-то
плывут, проходят облака.

Над занемогшими полями,
над замирающей землей
они плывут над всеми нами,
у всех у нас над головой.

Стоят мосты и часовые,
и от штыка не дрогнет тень,
стоят пути полосовые,
на полустанке дремлет день.

Стоят станки в своей работе,
стоит, глядит в себя завод,

застывши в утренней зевоте,
стоит спешащий к ним народ.

Сидят на лавочках деревни,
лежит в излучинах река,
стоят отдельные деревья,
их обтекают облака.

Вдоль человеческой надежды
ведет, ведет куда-нибудь
из дней пропавших, лет ушедших
в года грядущие их путь.

Стоят деревья, горы, годы,
течет небесная река,
стоят дела, стоят народы,
плывут над ними облака.

С поклажей света и прохлады
плывут вдоль жизни, вдоль земли
огромно-тихие фрегаты,
свободных далей корабли.

Они плывут, не разбирают
широт, долгот, веков, часов...
И ветер вечности вздымает
строй белоснежных парусов.

Май 1963

* * *

Вот солнца луч. Он точит ли стекло?
Течет ли под лежащий камень?

Приносит ли в ладонях Лужниками
цыплячее — комочками — тепло?

А воздуха громадная гора
хоть и грозит обвалами прохлады, —
тяжелые купальные халаты
все ж нам подбила ватую жара.

Вот держит планетарную модель
на белом пляже мальчик в алых плавках,
и маленький летит орел, и в лапках
несет недоумения людей:

Что солнца луч? Он свет или тепло?
А что земля — вселенский ли солярый?
Иль огород? А может — планетарий,
чтобы глядеть на лунное табло?

Тебе природа кажет свой портрет.
Ты наблюдаешь лик ее превратный.
И все ж великолепный и парадный
ее спектакль тебе не досмотреть.

Еще скажи, отважный мой малыш,
тень малого орла не отгоняя:
тепло и свет в себе соединяя,
прервешь ли ты заживленную тишь?

На ящерку орел твой так похож.
Изо щелей глядит он мирозданья.
Он выклевал тебе уже заранее —
не в печень ли? — забравшуюся ложь.

Так что же ты, что ты, — ты, жизнь моя?
— Глоточек сладкий в горьком море Леты...
Смеясь на берегу небытия,
вращает мальчик легкие планеты.

1961

* * *

Чем правит человек?
Своим конем,
чужой машиной,
им же раскрежщенной,
продленным за полночь электро-днем,
себе подобной бесподобной женщиной.

Что правит человеком?
Тот же конь,
его понёсший горными карнизами,
машинный ритм, ему дающий корм,
ночные страхи, женщина капризная.

Что хочет человек?
Своих свобод
соединенно стать одним хозяином
и навсегда закрыть могильный рот,
в любой момент откуда-то раззявленный.

Чего не хочет он?
Своих свобод
устроить, наконец, большие розыски
и поделиться от земных щедрот
с другим таким же по-людски, по-божески.

Чего он стоит,
век ему челом?
На всю людскую численность делённую,
но и одновременно целиком
всю в звёздах изумлённую вселенную.

Чего же он не стоит?
Ни следа,
что провела в снегу его же лыжина,
ни даже за него же и стыда
безмолвной твари, им же и униженной.

Умеет стать он, век ему лицом,
цветком и плугом, тварью и творцом.

1972

АНАТОЛИЮ НАЙМАНУ

Куда уходит жизнь! Должно быть — в обмолот,
на перемол, в мукú — и вкус ее, и мýка.
И в каравай-страна, и в колобок-народ...
Иль строчкой вымаранной промелькнет
в черновиках у друга?

1968

НАТАЛИИ КАМЕНЦЕВОЙ

Как бы молоды мы ни были
теперь, когда пишу, —
все одно на вас из книги
устаревшим я гляжу.

Этот лист я вижу белым, —
он иной для ваших глаз.
То, что нам белейшим было,
желтым кажется для вас.

И звучит, что песня старая,
эта песенка про то,
как жена моя Наталия
одна сидит в пальто.

Словно бы душа и тело,
так же были мы вдвоем.
Что же я теперь наделал,
чем до слез ее довел?

Почему же, с виду прочно,
ощутимое на вид,
наше счастье, как сорочка,
ненадёвано лежит?

И не Лермонтова парус,
и не Рильке блудный сын —
это я себе направился
в соседний магазин.

Вроде сам искал, где плохо.
Отчего ж заголосил,
как в Двенадцати у Блока:
«...эту девку я любил...»

Не хотел ее обидеть,
а пришлось совсем сгубить —
всё от страха быть любимым,
от желания любить.

Потому ль, что общий опыт,
данный мне на одного,
торопил и сейчас торопит
на себе постичь его.

Был я жертвой, был и вором,
надрывателем сердец,
только вдруг за мягким флёром
я увидел наш конец.

Как он близок, дорогая!
Но не бойся. Не забудь,
что любовь ведь — убегание
от него ко мне на грудь.

Только ты, сказать не смея,
всё молчишь, как чистый лист.
Так беги, дружок, скорее
и у сердца притулись.

И тогда конец не скоро,
и, когда б он ни настиг,
за сердечным разговором
проморгает этот миг.

Всяк любивший, но умерший,
не успевши разлюбить,
тем и жил, что ты сумеешь
за него любовь продлить.

Так прошли и наши жизни.
И сошла судьба моя
в основание отчизны,
что топтал при жизни я.

Источилась одежда,
пожелтела наша кровь...
На тебя одна надежда.
Выручай теперь, любовь!

ноябрь 1963

НАТАЛЬЕ ГОРБАНЕВСКОЙ

Скажи, зачем почтовый стук ракет,
откупоривших землю, как бутылку,
тебе телеграфировал портрет
немыслимого лунного затылка?

Поверь, не там зарыт заветный клад:
их под ногами звякает немало.
И что с того, что звезды говорят,
когда земля весь век тебе молчала?

Она всегда бутылкою плыла
по волнам своего же океана,
и некая записка в ней была
размыта неизменно, постоянно...

Не в том, конечно, суть, что ты узнал,
не в том, что получил, а в том, что дал.

Как это было с лапотником дедом,
забывшим завтрак, так пошел опять
тот узелок твой с молоком и хлебом
по мелколесью звездному гулять.

Ходи, гуляй, любезный колобок,
хотим тобой мы с небом поделиться,

скорей же попадайся на зубок
какой-нибудь космической лисице.

Ты, отделившись, канул невозвратно,
чтоб та записка стала нам понятна.

И литеры, как будто семена,
вдруг проросли и проступили резче,
и вот заговорили письмена
горячей спотыкающейся речи,

и тут с листа раздался хор предтеч,
так слушайте его прямую речь:

«Мы — всякий люд, до ваших дней усопший,
как вы теперь, мы жили у земли,
и прожили себя; но в голос общий
мы каждый по словечку занесли,

по буковке; мы для того и жили,
письмо инициалами сложили,
так проследи, как наши имена
в такие вот сложились письмена —

Ландау, Юрский, БОбышев и НОЙ —
все очевидцы истины одной,
Ликок, Юл Бриннер и Вивальди — каждый
ЛЮБВИ желал, ЛЮБОВНОЙ полон жаждой.

Будь он хоть кем: ваЛЮтчиком, уБИЙцей;
случись он Лодочником, Юношей, ДевицЕЙ,
весь этот хор безмолвный все слышней
одно тебе твердит: ЛЮБИ ЛЮДЕЙ!

Люби людей, чтобы тебя любили,
люби за то, что некого любить,
люби затем, чтоб люди вечно были,
люби затем, чтоб самому прожить.

Люби живущих и люби умерших —
весь отлюбивший, стихнувший народ,
люби и тех покуда не пришедших,
чья очередь любить тебя придет,

любимых женщин и любых прохожих,
возлюбленных друзей, самих друзей,
люби одних за то, что непохожи,
за то, что схожи, тех еще сильнее

люби, а мы смолкаем, мы ушли.
По форме сердца станет шар земли...»

И в тишине был слышен грохот крови,
прыжком наверх, ударом вбок и вниз
питающей прекрасный организм
всеземной человеческой любви.

«Весь этот бьющий залпами портрет
кто миру передаст, как не поэт!»

Май 1963

ШКОЛА ЗИМНИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

Хвойно-лиловы и еловы
среди поселка вертикали,
они, как сваи, как основы,
скрепили с небом снежные дали.

Среди холмов густеют тени;
а розовый под солнцем склон,
как опрокинутым растением,
двойным извилистым черчением
голубовато испещрен —
каракулами слаломисток.

Извилист и азартен визг.

Вот так и летел бы он, неистов,
как сучья в небо, как лыжи вниз,
но в темно-голубых высотах
два движенья белых, сонных
повел в обход своих межей
дозор небесных сторожей.

И вечер этот черно-красно-зимний
весь оказался как в корзине,
сплетенной из ветвей и лыж,
решеток непокрытых крыш,
а двух пилотов плавная петля
корзину в узел увязала,
когда и уместилась вся земля
в круг, освещенный у вокзала.

3 февр.65

ДНИ

Сестры, от всех болезней панацею,
беру я край одежды и целую,
его отводит крупное дыханье,
но братом я себя не назову.

Бывали дни большой просторной жизни...
А может, у святого Себастьяна
под ребрами торчат чужие взоры?
Но оставайся ты моей сестрой.

1968

В РУКИ Н. Н.

Возническому горящей колесницы
скорее бы с конями затонуть,
спасти бы их, вогнать в канал по грудь,
да застревают ступицы и спицы, —
сквозь фонари созвездью не пробиться,
все блески отбивает ртуть.

И зеленил она дома и мост,
малюет арку, в ней трубу, как кость
рисует, как и есть она, с натуры,
одним пятном наносит две фигуры,
сближает лица косо, как пришлось,
и гонит искры вдоль волос
в каштановой короткой буре.

Но вот уже, глаза притворно щуря,
хоть не пугает их прямая страсть,
волнением насытись всласть,
ОНА смежает жесткие ресницы,
и взору в эти дебри не пробиться,
и не сдержать ЕМУ узду и власть,
как с сердцем, оборвавшим снасть,
не совладал возничий колесницы.

3 октября 65

ДВИЖЕНИЕ В МОРСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

Здесь выпуклое море на песке
качается в протянутой руке.
Да, так оно и видно: под водою
приподнятое всунутой ладонью.

А голову закинешь — о, Господь!
Под белоголубыми небесами
ещё одна возвышенная плоть
в запястье перехвачена часами.

Но первая и правая рука
у дна колышет пальцами слегка,
а по тому же самому подобью
колеблется и суша под водою.

Предплечье шевелится на мели,
а кисть на глубину идёт у спуска
и, воду отделяя от земли,
вытаскивает скользкого моллюска.

Ну а другая, левая рука
запущена по локоть в облака
и, вызывая медленную бурю,
всё что-то шарит в облаке вслепую.

Но вынула она запястье, кисть,
а в пальцах шевелящаяся роза,
где лепестки и крылья, клюв и лист —
всё белое, всё взмахи альбатроса.

И голубое дёрнулось легко,
створаживаясь, будто молоко.

А синее на эту перемену
ещё белее скручивает пену.

Но вот соединились две руки.
Весь промысел на миг остановился,
и пенистые свёртки и круги
изобразили облачные выси.

И альбатрос летит, раскрывши клюв,
летит, моллюска наскоро сглотив.
Сквозь ровный шум, как будто острым пиком,
он небеса пронзает острым криком.

Дыра возникла, он в неё вошёл.
А вот уж и отверстия не стало.
А вот уж и пропал небесный шов.
И только на запястьи, у часов
на циферблате солнце заблестало.

1963

АННЕ АНДРЕЕВНЕ АХМАТОВОЙ

Ещё подыщем трёх — и всемером,
Диспетчера выцеливая в прорезь,
Угоним в Вашу честь электропоезд,
Нагруженный печатным серебром.

О, как Вы губы стронете в ответ,
Прилаживаясь будто для свирели...
Такой от них исходит мирный свет,
Что делаются мальчики смиренны.

И хочется тогда корзиной роз,
Роскошно отягчая мотороллер,
У Вашего крыльца закончить кросс
И вскрикнуть дивным голосом Тироля:

Бог это Бах, а царь под ним Моцарт,
А Вам улыбкой ангельской мерцать.

И будто бы моторов юный гром,
И словно этих роз усемиренье,
Не просится ль тогда стихотворенье
С упоминаньем каждого добром?

1963

ЕГО ЖЕ СЛОВАМИ

Пускай не схожи глиняник и гранит,
но с холодом сошлись пути тепла;
на склонах Грузии лежит
Адмиралтейская игла,

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ ЛЕЖИТ НОЧНАЯ МГЛА.

И невская накатывает аква
на глиняные камни под стеною,
прозрачная. И мутно-далеко
шумит Арагва.

ШУМИТ АРАГВА ПРЕДО МНОЮ.

Мне грустно и легко,
и нету ни изгнанья, ни печали,
а только выси, глубины, дали
и тонкая издалика игла,
которая прикалывает наспех
чужое сердце на чужих пространствах,
как мотылька, на грань его стола.
Но боль моя, печаль моя светла...

МНЕ ГРУСТНО И ЛЕГКО; ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА;
ПЕЧАЛЬ МОЯ ПОЛНА ТОБОЮ,
и время милосердное с любовью
пространству стягивает боль,
цветут объемы перед ним,
цветут одним —
ТОБОЙ, ОДНОЙ ТОБОЙ... УНЫНЬЯ МОЕГО
НИЧТО НЕ МУЧИТ,
только воздух гложет
глаза до слез на сквозняке времен,
и жизнь мою прохватывает он
до радости, но горя НЕ ТРЕВОЖИТ,
И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ,
и в красной дрожи сгорает,
хоть И ЛЮБИТ — ОТТОГО,
что, не спалив, не воскресить его,
ЧТО НЕ ЛЮБИТЬ ОНО
тебя, тебя —
НЕ МОЖЕТ.

1963

ТРОЕ

Неба гладкого белоголубость,
муравьев глянцевиная взвесь,
олеандра нарядная глупость

и цикады откуда невесть
выводимая в небо рулада —
всё притворно, всё приторно здесь.

Лишь три дуба не вносят разлада
с этой местностью. Вклещился плющ
в сердце первому дубу. «Не надо!» —

этим жестом из лиственных гущ
выдирает он черную зелень.
Словно барс, его груз — сердце рвуш.

Но атлет из могучих расселин
на врага оголил твердый сук.
Только мощью он не беспределен.

Основанье второго вокруг
охватила кривая колонна
и — до хруста — кольцом смертных дуг

сокрушает бойца неуклонно.
И у петель в плену и колец —
змиеборец — у Лаокоона

взял он позу себе и конец.
И сошел его счет со столетий
на года. Но еще есть борец.

Да, но высосан досуха третий!
Отчего же его душегуб
не ликует, и хищные плети

свисли? Свет ему, что ли, не люб?
Обессилел, вознёсшись, убийца,
победителем стал мертвый дуб.

Честь и гибель — вот участь любимца,
кавалера тех доблестных мест,
где куначество не истребится.
Никогда. Вот вам каменный крест.

1963

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Ефиму Славинскому

Только меч да кольчуга. Да свитер сырой
под кольчугой. Да маленький остров
под ногами. И парень, покрытый росой.
Это — рыцарство. Или сиротство?

Потому что не знает он: ближе к зиме
стать ли добрым ему, быть ли злобным?
И так мало народу ещё на земле,
что не с кем и перекинуться словом.

январь. 1962

ЧИТАЙТЕ ВЫВЕСКИ

1.

Когда пятак упал, звеня, и БАКАЛЕЯ
просыпала пшено, бранясь в пол-зла,
я видел: вывеска, неонов пламеня,
по стенке, сытая, читалась и ползла.

Я обозвал ее созвездьем зодиака,
а за кефиром в лавку — МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ...
Читали б вывески — не прозевали б всяко
кровавые слова на крыше — кыш, собака!
МЕНЕ ТАКЕЛ ФАРЕС ЭЛЕКТРОПУЛЬТ.

2.

Орлами здравицы уселись двухметрово
и с крыши метят вниз.

А голуби слетелись на карниз
и тоже складывают слово.

И гулят, милые... А мне бы дать им крупки,
да пуст карман, и я иду домой...
Но слышу голос ангельской голубки: —
Покуда нищ, ты — брат любовный мой!

Стою, благодарю, благоговая;
не ТРИКОТАЖ меня, ГАЛАНТЕРЕЯ,
и не ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ жизнь мою...
Под бравым славословьем — всё вернее
я нищенскую песнь свою пою.

апрель 1968

НА АРЕСТ ДРУГА

Ефиму Славинскому

Не получился наш прекрасный план,
всё сорвалось... Держись теперь, товарищ!
Делили мы безделье пополам,
но ты один и дела не провалишь.

А всех трудов-то было — лёгкий крест
процеживать часы за разговором,
мне думалось: ты — мельник здешних мест,
ты — в мельника разжалованный ворон.

Безумного ль, бездумного держал
то демона, то ангела над кровом.
Один запретным воздухом дышал,
орудовал другой опасным словом.

За это — а за что тебя ещё —
и выдворили из полуподвала,
и — под замок. Жить, просто жить и всё,
оказывается, преступно мало.

Виновен ты, что не торчишь у касс,
что чек житейских благ не отоваришь.
И, веришь ли, впервые на заказ
пишу тебе — держись теперь, товарищ.

1970

ДЕНЬ ГОДА

Льву Друскину

В последний летний тёплый день года,
когда уже в саду совсем осень,
мы вспомнили о дне другом, зимнем,
до праздников примерно дней за семь.

И дров-то будь здоров брала печка,
горячий нижний свет лила в лица,
и дня хватало нам вот так, с верхом,
чтобы поймать, хоть раз, взгляд друга ...

С утра затопишь печь, глядишь — вечер,
и в вечность наш денёк уж весь вышел,
и лыжи не нужны. Ну дай выпить
за тот последний тёплый день года.

Комарово, 1964

НОВЫЕ ДИАЛОГИ ДОКТОРА ФАУСТА

М. П. Басмановой посвящаются эти опыты

Открой-ка дверь, здесь душно и темно.

Не лучше ль нам открыть тогда окно?

Там холодно, а я и так дрожу.

Нет, нет, я дверь открыть тебя прошу.

Да, но из двери слишком резкий свет,
и голоса, и шум воды на кухне.
А серое шуршание газет,
стук каблука и шепелявость туфли
вконец мое молчанье извели.

Но почему? — ведь там же все свои!

И я люблю, когда присесть на стул

сюда заходит этот мирный гул,

болтливый, как сосед. Открой-ка дверь.

Нет, нет, ну я прошу тебя — не стоит.

Когда уйду — откроешь, не теперь.

Открытое — всегда чуть-чуть пустое,
а может быть, и вовсе пустота.

Да, это так, но, не раскрывши рта,

альбома, книги, двери и души,

мы все неизреченными в тиши

останемся. И комната права,

на стенах наши профили рисуя,

записывая нас. Ведь мы — слова,

и знак, и шум, и выражение сути.

Ей крикнуть нами хочется теперь.

Ну, я тебя прошу, открой же дверь.

Нет, погоди, скажу я все, как есть:
на самом деле это только лесть
предмета. Он не хочет просто быть —
как бы возбыть, продолжиться желая,
он вынужден казаться смертным, слыть
за смертного, постыдно подражая
в печальном этом свойстве нам, живым.
Не это ли притворство?

Даже им,
притворством, наградили мы предмет.
(На части разбирая белый свет,
суметь бы нам колесики устройств
не растерять.) Но солнечная призма,
тряся букетом семицветных роз,
дает урок несложного кубизма,
и если кто понять его не смог,
то зеркала пронзительный намек
сверкающей на плоскости дырой
тогда не говорит ли: дверь открой!

Нет, не открою.

Не откроешь?

Нет.

Но почему? Запрет? Или приметы?

А ты ответь мне: зеркало — предмет?

Нет, не предмет, но правда о предмете.
Поверхности дает оно объем.
Объему с отражением вдвоем
оно предоставляет заглянуть

до самого конца другому внутрь
и распознать себя. Так свет и тень
(вся густота зеркальных построений),
опережая правду на ступень,
становятся едва ль не достоверней,
чем сам оригинал. Как птицу в лёт,
оно с опереженьем правду бьёт.

Бедняге не впервой, а нам урок:
того гляди, прибьёт лихой стрелок
не только правду, но и нас самих.
Скажи, когда глядишь в такое жерло,
из этих одинаковых двоих
кто ты, а кто твое изображение?
И в ком из них живет твоя душа?
Ведь если позабыть, что он — левша,
с тобой, прекрасным, он, кривляка, шут,
полнейшим сходством вызывает жуть...
Оптическое чучело в тиши
внушает непонятное доверье
и, тело отделяя от души,
в небытие приоткрывает двери.
Ведь если я и есть вон тот портрет,
выходит, что меня-то вовсе нет.
Нет, проходимец, я и значит я,
хоть искушает правду ложь твоя.

Ну, это же не ложь, а так... Лукавство.
У зеркала ведь память коротка.
А потому и лучшее лекарство —
забывчивость заемного мешка
пространства. Чтобы нам себя спасти,
достаточно глаза лишь отвести.
Но приготовься: впереди у нас
опасный опыт — выдержит ли глаз?

Тебе не приходилось наблюдать,
как пишет это зрительное эхо
и по складам пытается читать?
Циническая в этом есть потеха.

Я думаю, пластинка так поет,
запущенная вокруг наоборот,
Но вместо пенья только свист и визг.

А если я пластинку эту — вдрызг!
Побереги же слух: впускаю звон.
Поломанного пения осколки
сверкают и свистят со всех сторон,
впивая в ухо острые иголки:

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....*

О, что это за ужас, прекрати!

Нет, нет, еще осталась треть пути.

Останови невыносимый тест.

* Строки многоточий здесь и в дальнейшем обозначают паузы соответствующей длительности. В этих местах читатель может вообразить какофоническую музыку.

Нет, погоди, должны мы всё прочесть:

.....
.....
.....
.....

О, это нехорошие дела:
обломки слов с обломками стекла
в глазу объединенные, тотчас
у зрителя пропарывают глаз,
а проникая в ухо общим скопом,
обломки смысла и зеркальный лом
кровавят слух, копытящим галопом
растаптывая мозг. И поделом —
говорено не даром у людей:
«И в мыслях разбивать его не смей...»
А так и есть. Оно ведь — глаз, досмотр
за нами
лиц, физиономий, морд,
им отраженных некогда до нас.
Каким бы это ни было соблазном,
руки не подыми на этот глаз:
как отомстит шпион с подбитым глазом,
наплачешься...

А я и так плачú.
За то, чего я ввек не получу,
кладу я нескончаемость пути,
которым предлагается брести
за истиной.
Но весь увидеть разом
предмет — не предусмотрено в меню.
Так, значит, быть всегда тысячеглазым
или разгрызть их тысячу на дню

и разложить по косточкам примет.
Я думаю, что не парижский мэтр,
а вдребезги разбитое стекло
от зеркала —
кубизм изобрело.
Из всех приобретений ли, потерь —
не все ль равно? — оно свободы просит.
Оно не то что открывает дверь,
а напроць и в щепу ее разносит.
И сквозь пространство — далее вперед...

А кто, скажи на милость, уберет
истерзанные зеркалом тела?
Да, видно, есть ручные зеркала,
а есть неприручѐнные, как зверь,
как это вот, бушующее рьяно.
Ну, хорошо, пойду открою дверь,
хотя б затем, чтоб выпустить буяна.
Авось, он присмирееет во дворе.

Что разглядишь ты о такой поре?

Что разгляжу — во тьме увижу тьму,
а там — непостижимое уму.

Но это — двор, и тут вокруг дома.
Расставив руки, кажется, дотронусь
до двух противостен...

О, там, где тьма,
укромность превращается в огромность,
и больше нету ни домов, ни стен.

А что же есть?

А есть густая тень,
та самая, что гнезда вьет везде,
где почернее мрак, и мы в гнезде
качаемся с тобой — не выпасть бы,
о как бы нам не выпасть, не упасть бы!
Не сверзиться бы нам с ветвей судьбы
да в самое туда раскрытье пасти,
с ветвей да в пропасть волчьей пустоты.

Не зеркало ль во мраке видишь ты?
Не зеркало ль?

Не знаю — тут темно.

Ну, значит, это все-таки оно.

Не знаю, нет, не различить никак,
но чувствую присутствие чужое...

Так, значит, это — зеркало: не мрак,
но пустота, закиданная тьмою,
и я давно разбить ее...

Постой!
Мы пустоту прихлопнем пустотой.
А с ней и наши опыты к концу...
Смотри же, как стоят лицом к лицу
два зеркала. Ничто глядит в ничто.

Да, вижу. По краям клубится нечисть,
а в самой трубке, в рукаве пальто
обрублена по локоть бесконечность,
суля и нам похожую судьбу...

Но тут пространство свернуто в трубу,
и мысль о нем уложена в чехол.

Нет, опасаясь я, что это — ствол.
И он определенно расчехлен,
он изготовлен и готовит выстрел
не в нас — похоже, нами хочет он
пометить запространственные выси.
И вмиг — двух жизней, двух сердец дуплет!
Меж двух зеркал — спалить запасы лет
в одно мгновенье — ставлю я свечу.

Нет, нет, я это знаю, не хочу...
Все пробую, но не открыть мне дверь —
и чую сквозь нее дыханье стужи,
и кажется: какой-то черный зверь
рогами подсадил ее снаружи.

Так он пришел? Я жду его давно.

Но кто же он?

Да так... Не все ль равно?

Нет, кто?

Все имена идут за ним:
калика перехожий, пилигрим.
Он — мышка, но и кошка, но и щель,
куда забилась мышь. Он волк овечек,
и муть со дна кладбищенских ночей,
и вечный странник, но и странный вечник, —
названия лишь искажают смысл.
Мы слишком далеко услали мысль,
и не она уж настигает нас,
но искуситель, сатана пространств.

Он обозначен! Так на шею — вервь,
на сердце — камень, головою в омут!
Ты видишь?

О, сама открылась дверь!

«.....
.....
.....
.....»

Исчез! И повернулась дверь, как лопасть...
Но что он говорил! Я жить хочу!
О, что сказал он... Я не так хочу,
не в честь и не в угоду палачу,
и ты не поддавайся палачу.

Ну, успокойся, на него есть крест.
Ты вспомни церкви среднерусских мест
(ты помнишь церкви среднерусских мест?),
в просторных рощах как они к лицу
спокойно вечеряющей России!..
И там у них, где свод идет к концу,
там луковицей купол темно-синий
(там? луковицей? купол? темно-синий?),
и золотые звезды по нему.
Так вот: уж и не знаю почему,
но все-таки всегда сдавалось мне, —
так выглядит вселенная извне.
Снаружи, да, а крест или росток,
снаружи. Нет. Но крест или росток
у луковицы — вот всего начало
(начало? начало? начало?),
и прямоточных там времен исток,
и возвращенных там итог.

И жало,
стрекающее светом в тот простор,
к которому повсюду есть затор,
повсюду, но не в сходе этих мест,
в которых мир не то чтоб был отверст,
не то чтоб тут окно...

Да, да, оно!
Ведь логика ступенек и площадок...
Нет, нет, оно!..
И всех дверей, ведя на то же дно,
ведь логика ступеней и площадок
наводит неестественный порядок,
и всех дверей, ведя на то же дно,
наводит нестерпимый распорядок,
а мы с тобой должны не выйти в мир,
а выпорхнуть из комнат и квартир.

Да, но не так, как этот...

Нет, не так...

Но это значит, нам тогда...

Молчи!
Дверь запереть покрепче. Где ключи?
Но разом весь пронизывая мрак...
Нас не увидят. Тут кругом темно.
Прозрением.
Сейчас кругом темно,
и мы одни в неосвещенном мире.
И мы. Одни. В неосвещенном? Мире.
Ну, хорошо. Открой тогда окно.
Открой окно. Открой его пошире.

Таврическая улица, 1964

* * *

Себе, преображенному, навстречу
лететь через тяжелые толщины
личинкой солнечной и человеческой!
И бегом бегу времени переча,
отсчитывать обратно годовщины,
себе же вымолаживать морщины, —
и скважину заткнуть вселенской течи,
как вырвать результаты у причины.

Не проще ли в метро, и — до конца!
Всё скачет мрак, но вверх идет уклон,
в бесхлебной невесомости вагон
качается... Вдруг свет со всех сторон:
мы вырвались! И вот плывет перрон
над городом без смысла и лица.

15 ноября 1970

СЧАСТЬЕ С ПРИПЕВОМ

И день, и ночь (и день и ночь),
и сутки прочь (и сутки прочь),
мешаются земля и небо,
как в детстве — равно — счастье, горе,
как лодка, люлька, лодка в море,
так и во времени планета:
зима и лето, зима и лето...

А было б небо голубей
и слаще вишенка была бы,
и земляника горячеей,
а гоноболь — пьяней была бы,

о вот тогда, тогда, тогда бы
и счастья радость, и счастья боль,
что поперёк любви, что вдоль
качалось медленно и слабо...

Тогда бы,

не повторяясь, поцелуй продлился,
созвучье разделилось на два звука,
а в воздухе повисли птицы, листья,
но и не прерывалась бы разлука.

Куда ещё — такую боль, —
у счастья хватит поперечин.

И так уже, с самим собой
разлукой каждый обеспечен.

Но это нам бывает невдомёк.

И странно поражает в час свиданья,
когда подруге тень страданья

ложится счастьем поперёк,
как шпалы — полотну дорог.

Стремясь по той стремянке в высоту,
всем ягодам я горькую рябину,
любой, клянусь, малине предпочту,
и радость, эту сладость, отодвину,
а и приму — бедой располовиню...

Как половинит сушу море,
так счастье половинит горе,
но и счастья нет, и несчастья нет,
где половодьем полный свет.

май 1963

ИОСИФУ БРОДСКОМУ

Жизнь достигает порой
такой удивительной плотности,

Не оставляй с самим собою
меня, пропоротого болью —
хоть удались в любую даль,
но только — нет, не покидай.

по самому простому праву, —

Ведь я себя бегу, как птица,
что перьев собственных страшится:
из них любое — остриё,
и все направлены в неё.

но ты и в радости не покидай,

А ты разлукой, самым острым
из этих перьев, скрипом костным
меж рёбер вводишь скрежет, нож
до сердца, там и повернёшь,

когда я тороплю расправу.

Не покидай меня, не покидай,
когда разъят я в этой стуже,
но ты и в радости не покидай, —
она всех стуж похуже.

Чужое сновидение

Такой ночной горячий полубред
и полувопль, хотя и с долей смысла,
минуя слух, в мой сонный мозг ломился
за первым сновиденьем, сразу вслед...

Так начинал невольный гипнопад
свой лепет, словно вяз под плетью ветра, —
своей бедой настигнутый сосед,
товарищ мой по съёму кубометра
жилых просторов.

Общий наш закут,
когда стихали кухонные недра
и строй эмалированных посуд
уже не брякал крышкой о сосуд,
сосед мой начинал негромким воплем.
И, хоть не прерван плачем из угла,
но сон уже был скомкан, покороблен,
и жалоба, крутясь, в меня текла...

Потом я просыпался, шёл в дела,
не ведая, чем ночь меня терзала...
Но голова в дыму, как свод вокзала,
покинутого поездом, была,
да в сердце — скрежет битого стекла, —
чужая боль меня не покидала.

Вариации темы

Не покидай, и не дели свой путь
на два пути — судьбы и сердца,
где в трещину меж них и не взглянуть, ...

*Пусть никогда ничтожность, малость
до слёз твоих не подымалась,
и только я вздымаюсь, прах,
но лишь возмездие в глазах.*

...одно клубится бедство.

Однако, знаю, будет день измен.

*Когда беду наизготовь
держат лишь ради перемен,
приворожит она любовь,
а та приманит день измен.*

Он страждущим, содрав повязку, ...

*Так что же — мне? тебе? ещё там
кому-то обернётся счётом, ...*

...на голову обрушит свой безмен, ...

*кому-то обернётся счётом,
и примет чёрный оборот
тот новогодний поворот,*

всему неся развязку.

*Тот новогодний поворот винта,
когда уже не флирт с огнём, не шалость
с горящей занавеской, но когда
вся жизнь моя решалась.*

Общее воспоминание

Не пелену набрасывает сон,
а личности расплёскивает он
и заливает ясные границы
мои, твои, соседовы...
Все лица
так метят в самое меня вселиться,
что и не знаю, чей же это сон.

Тогда, с тогда ещё чужой невестой
шатался я, повеса всем известный,
по льду залива со свечой в руке,
и брезжил поцелуй невдалеке.
И думал он в плену шальных иллюзий:
страсть оправдает всё в таком союзе,
всё сокрушит; кружилась голова,
слов не было.
Какие там слова!

С кем это было — с ними? с вами? с нами?
Всё затянуло общее бытё.
А может, это — сон? воспоминанье?
предчувствие?.. Его? моё? твоё? —
не знаю.

Новогодний дачный дом
их ждал с компаньей дымной за столом.
Вы двое, обручённые, явились
(а может, обречённые?), и вились
вкруг нас двоих
и в твист плелись картинно
запутываясь, ленты серпантина...
...вкруг вас двоих...
...и в твист плелись картинно,
пути запутав, ленты серпантина
вкруг этих двух...
Но что ты? Спятил разве?
Откуда взялся этот жирный гном.
Да там ли я, на той же лыжной базе?
Что тут за люди в пьяном безобразьи,
разбитые кто дракой, кто вином,
кто преуспев на поприще ином...

Но врезалось, как свой, как личный опыт:
она, её свеча и светлый обод
свечи, чужого праздника фрагмент
и острый огонёк среди плоских лент.

Но как остановились эти лица,
когда вспорхнула бешеная птица
в чужом доме на занавес в окне,
в чужом доме, в своём дыму, в огне...
Немногое пришлось тогда спасти!
Нет, дом был цел,
но с полыханьем стога
сгорали все обратные пути,
пылали связи...

Ночь ушла к пяти,
и я уже забылся в ней немного,
но услышал начало монолога.

Монолог спящего

Нет пути от меня, нет пути для тебя, нет дорог!
Нет, вернее, путь был, но его уже всё, пересёк
путь к ночлегу, ночлег, и до нас за пятнадцать минут
не успевший как следует и отдышаться, вздохнуть,
тот сразбегу взобравшийся в горку еловый лесок...
О, сквозь ветки прозрачно его голубеет висок...
И какой-то секрет, непонятно: вблизи? вдалеке?
только что-то он прячет, таит, как монетку в руке,
шевелит у себя за спиной и потом — две руки, два ствола,
предлагая — в каком? — выбирать... А, была не была,
в левом! Возглас, смятение, возглас, испуг: «ох, лисица...»,
жёлтый мех и со стукотом сердца желающий слиться
по прибитой земле убегающий вдаль топоток.

И возникшее сразу же и навсегда, как итог:
нет пути от меня, нет пути для тебя, нет дорог.

Цветок, раскрытие страницы,
кружащий лист — всё птицы, птицы;
движение брови, взмах ресниц, —
ты всюду, всюду видишь птиц.

Они летят в твоих тетрадках,
их тень на вологодских трактах
пересекает поперёк —
как шпалы — рельс твоих дорог.

Но видела ли ты когда-нибудь
(заранее тебе в сердечном вздрог
скажу по правде — нет!), что птичий путь
висел бы вдоль дороги?

Если был он, тот путь, то его уж давно завели
повороты небес и неровности, сбивы земли,
ветвяные решётки, стволы и еловые кущи
к той дождливой и птичьей, к той хвойно-рябиновой гуще,
где и вправду ведь рай был в еловом живом шалаше.
Льнули двое безбрежной душою к безбрежной душе...
Кто там был? Никого — только мы да глядевшие в нас
сквозь тяжёлую хвою: и рденье рябины, и глаз
той сиреневогрудой внимательной крохотной птицы;
как зрачком, этой птичкой водили лесные глазницы,
с нас её не сводили, пока не смежилась хвоя.

Из бывшей, списанной столицы
мы вырвались, как две страницы;
лес эту грамотку обстал
и наспех нас перелистал.

Листал, как ветер лищет книгу,
нисколько не следя интригу, —
взглянув поверхностно, чуть-чуть,
он сразу схватывает суть.

Нет, был путь, был же путь, но мой поезд, как нож,
разрывая разлуку, проткнул заодно твою ложь.
Ничего не забыв, но отведав от этих измен,
чем же стал я теперь?, если мною он благословен,
этот путь от меня и колёсами, значит, по мне.
Сколько шпал, столько раз приходился по полной длине
стук железный, колёсный по стуку живому вот здесь...

Два рельса спорят в этом стуче:
один грохочет о разлуке,
ему гремит наперебой...

...стук железный, колёсный по стуку живому вот здесь,
где тебя прославляет сама нестерпимая резь.

...ему гремит наперебой
о возвращении — другой.

Я вот что говорю: и в счастья есть,
о чём молчит любовная наука...

...я говорю тебе: и в счастья
есть мука разделённой страсти,

которую сердцам не перенести,

она не делится на части,
и только редкие сердца
её выносят до конца,

входящую без стука.

Диалог с уходящей

Сводило судьбы ближе, ближе:

— Тебя я сквозь деревья вижу...

— А ты мне брезжишь впереди...

И — перекрёсток на пути.

Страсть, осенённая ответом,
ослеплена своим же светом.
Опоминается она,
когда уж всё — разделена.

— Ты не покинешь? — Не покину...

Самой уж не наполовину...

— Так не оставишь? — Не оста...

Звук пропадает, даль пуста.

И меж ответом и вопросом
стоят деревья полным ростом...
— Куда ты скрылась? Где ты есть?
Издалека: — Я рядом, здесь...

Не покидай меня, не покидай,
когда разъят я в этой стуже,
но ты и в радости не покидай, ...

Я принимаю эту муку, ...

...она всех стуж похуже.

...горстями вычерпав разлуку
и выпив с милого лица
всю безучастность до конца.

Авторская ремарка

В душе подругам это не с руки,
безмерность чувств им кажется чрезмерной,
и где нам уследить за этой сменой...
Что было «настроенье, пустяки»,
кончается побегом и изменой.

Пусть мы от сантиментов далеки,
в молчаньи пусть по горло тонет повесть,
но другу ты попробуй-ка солги,
когда я сам под старые долги
купил ему билет на этот поезд.

Ну, добирайся к ней по городам,
по вологодским льдам, весенним бродам,
мол, никому на свете не отдам,
ну, по расспросам, камушкам, следам
и обнаружь с любовным антиподом...

...Тот знает, кто следил через стекло,
что было там, в гнезде пустого дома.
Я так скажу: что было, то прошло,
но не дошло, как видно, до худого.

И вот он с ней уже вдвоём сидит.
Они вдыхают злой дымок кочевья,
не греет придорожная харчевня,
не отпускает нервы даже спирт.
За тонкой стенкой паровоз сипит.
Впотьмах скрипит у стрелки куча щебня.

Они молчат. А что сказать? — «Бог с ним,
верни моё...» А что моё — надежды?

«Сама вернись»? Но вот она, как прежде...
Она. И лишь дорожные одежды
уже пропахли запахом чужим...
Ну что ему сказать, скажи на милость,
ну что ему сказать, что ей сказать?
Что за пустой и гибельный азарт,
которым сердце милое надмилось!

А ночь предполагала монолог,
который бы вполне прочесть он мог.

Монолог то ли автора, то ли героя

Знаешь время — то год пролетит, не заметишь, а то иногда
меж средой и субботой, бывает, проходят года —
так ветшает душа, так стареешь за несколько дней...
Только тяга к тебе с каждым днём, с каждым годом сильней.

Опасайся меня и какой-нибудь щит от меня приготовь:
всё быстрее вкруг сердца, всё чаще вращается кровь,
не подумай дурного, тебя не берут на испуг,
но вращается кровь, превращается в розовый круг,

голова закатилась, разбросаны в стороны руки —
как бешеный бык этот бешеный бег центрифуги
стучит нет гудит нет ревёт разрастается гром
чёрно-красного цвета, шипящий сухим серебром.

Сотрясает основы и жизнь мою мощно трясёт
сотрясает, как стебель, судьбу ухватив за хребёт...
И ломлюсь напрямик, и не выбраться мне из кольца,
и СУДЬБА — ЭТО СТРАСТЬ, только понятая ДО КОНЦА,

приготовь, говорю — я горю — что-нибудь приготовь:
тяжелеет, ревёт, и враща — и вращается кровь;
что там? — гвозди, клыки или звёзды — того и смотри,
эта острая кровь продырявит меня изнутри,

как буровит меня каждым словом горячая речь,
так и ты — опасайся! — вдруг красная свиснет картечь.
И с какой безнадежностью всё же я всё же зову:
— Край серебряный, крепкая старость, ау!

Не дожидаться тебя, не пробиться к тебе, не пройти.
Нет пути до тебя. Для тебя нет пути. Нет пути.

Дуэт героя и автора

Есть тёмный свет.

Его полуовальная дыра
в фасаде арку прокопала,
она выводит черноту двора
на ров канала.

Есть светлый свет.

Но почему же так темно?
Была там лампочка давно,
и в голой темени ворот
висел её прозрачный плод.

Его не видит белый свет.

Какой-нибудь лихой гуляка там
шатался над рекою,
не я ли сам? Не я ли, прежний, сам —
своей рукою?

Есть светлый свет, ...

Он, веселясь, его раскокал,
и лопнул плод, остался цоколь,
не развинтить уже патрон:
края, как бритвы — только тронь!

...есть тёмный свет, ...

Попробуй только — сразу до кости
разнимут плоть они почти приятно —
так мокро, остро, Господи прости,
проступят пятна.

...при скручиваньи многих бед.

Есть полый свет воспоминаний
и тёмный свет благих страданий,
и светлый свет счастливых лет,
и жизни, жизни полный свет.

Двинь сердце, словно маятник толкни —
все беды я благословлю за это.
Как ночи — так я выворочу дни
изнанкой света.

А с твоего лица-соблазна
два пепелища слёзных, глаза,
в меня глядят, дают мне — нет,
лишь утешенье, не совет.

*И утешенье, и совет —
тот, Дантов свет.*

Верхняя тишина

С душой, опустошённой от блеска,
проснулся, вижу — сбилась занавеска...

Примета — дальше некуда — плохая,
когда в окне разбойничья звезда,
сам Сириус, чудовищно порхает
и тьму — на ромбы, кубы, обода
и — к самому главному дну, туда...
И там он с в е т о з а р н о полыхает.
Свет ширится, как лай, как гам, как гром
в ночи за ланью порскающей гончей!
В сердечной сумке прыгающий ком!
Заглотанный в желудке волчьем корм!
И злоба дня среди вечной злобы ночи...

Я — мимо друга, к тёмному окну,
и нижнюю услышал тишину.

Нижняя тишина

Водопровод разыгрывает фуги,
и рвётся с электрической подпруги
семейный ледник, тину ржавых щёк
у поплавка скребёт, шипя, бачок,
сочится кран, и капель звук упругий
разносит полновесно: щёлк да щёлк...
И слышно всё — то чётко врозь, то слитно,
то счётчика насвистывает диск,
то за стеной растёт гуденье лифта,
и бормотанье друга будто влито
в тот назавидный тихий гвалт и визг,
но высится как ствол, как обелиск.

Догадка

Горит, я вижу, рот у страстотерпца,
и слово из-под нёба — до небес
ширяет меж глубин, высот и бездн,
беда и радость разом входят в сердце...

*Ах, радость эта пуще заусенца
и саднит, и отпущена в обрез...*

Но отчего же так во тьме широко
поёт его беда с припевом рока?
Что за — для сердца непомерный — стук
звучит в его грудной органной фуге!
И страшное подумалось о друге:
что если счастлив он средь этих мук?
Не ищет ли страданьям он продлений,
и, может, это цель — любовный крах?

Пропись

*ПЛОДЫ ТВОИ НЕ В ВЕТКАХ — В ОБЛАКАХ.
ДЛЯ СЛЁЗ РИСУЙ И ДЛЯ УВЕСЕЛЕНИЙ
НЕ ЯБЛОКО — НО С ЯБЛОКОМ В РУКАХ
ПОРТРЕТ ВСЕЛЕННОЙ.*

Первое двойное соло (день)

*А на одной из этих веток
висит, качается от ветра*

как яблоко — безбедно круглый день...
И мы с тобой на берегу залива,

и даже солнце не бросает тень,
и ты счастлива...

*Как солнце, яблочко желтеет,
а у него на чистом теле,
поглубже спрятать норovia
разлуку, — чёрный след червя.*

И я разламываю плод, и день, и боль —
в изломе бело-искристое тело.
Так счастье — пополам — у нас с тобой
внутри блестело.

*А сутки солнечны и лунны,
в них золотые поцелуи...*

Вот нам уже и суть обнажена:
гнездо червя и червь в плодовой сумке,
где красные лоснятся семена, ...

*...как золотые поцелуи...
Но день разломлен пополам,
и вот уже открылось нам —*

и красно-золотые семена,
и горстка крупки.

*Сухой отравы, злой разлуки,
коричневой горчайшей крупки
в серёдку счастья всыпал горсть
своей нуждой гонимый гость.*

О, как бы мне о солнечной любви,
свой голос выводя вразгон, до нельзя, ...

О, как бы мне взять эту скорость, ...

...петь о тебе, как пел седой Луи
о престарелой Эльзе!

...о, как бы мне взять эту скорость, ...

...вразгон, до нельзя, ...

*...но раздвоился, сбился голос,
перехватила горло дрожь,
рука схватила, схватила воздух.
А он уплыл, расплылся в звёздах,
от блеска отскочила ржа,
и не достать уже никак
его, повсюду блеск и мрак.*

И входит млечная межа
в неразделённый блеск и мрак.

Второе двойное соло (ночь)

Рассыпалось вверху сиянье, прах, ...

*А в чёрном, а в блестящем свете
на продолженьи каждой ветви
как знак условного плода
блестит не ягода — звезда.*

...по небу — сеть ветвей до половины...

*И страсть мерцает дивно, грозно,
а лобный свод ночного мозга*

*сквозь эту сетку тянет ввысь
свою ветвящуюся мысль.*

...и ягоды запутались в ветвях...

Не в бездне, нет, не кружит, нет, не прах —
кора небесных нежных полушарий
шлёт сведенья о свете, свет — во мрак.
И в холод — о пожаре...

...ночной рябины.

*И светлый мрак и жаркий холод,
как уголь и селитра — в порох
соединённые, одной
вдруг стали взрывчатой средой.*

Смена голосов

Не в бездне, нет, не кружит...

И светлый мрак, и жаркий холод, ...

...нет, не прах —
кора небесных нежных полушарий ...

...как уголь и селитра — в порох ...

...шлёт сведенья о свете, свет — ...

...соединённые, ...

...во мрак, ...

...одной

вдруг стали ...

...сведенья о свете, свет — во мрак,

и в холод — ...

...взрывчатой средой,

и в холод — о пожаре.

Пролог небесного действия

У чёрного пожара чёрный горн.

Свод вымощен. Булыжник гладок, чёрн.

Здрав копыта, скажет в поздний час

крылатый перевёрнутый Пегас.

Огромно-тяжело, во весь опор,

оскальзываясь, прыгает он.

Скор,

могуч битюг, сдвигающий с разбега

всё небо ломовое, как телега.

Так, чтобы дело не погасло,

давай ускорим бег Пегаса!

А это что там? Милый Скит — ...

Занавес

В мерцаньях, тёмных громожденьях,

в толчках сердец, в сердцекруженьях —

во всю сплошную звездоточь

над головой твоей клубится, бьётся ночь.

Действующие лица

...А это что там? Милый Скит —

лопатка конская блестит,

*по небу порскает Лисица,
и дивная дневная птица
летит, спасаясь от Орла,
но ранит Лебедя стрела.
И, принуждён склоненьем ночи,
склоняет шею он за рощи...
Но где ж охотник? Вот и он!*

Это выпорхнул, выпорхнул вверх в небосклон Орион.

*И, вбиты весело-светло,
как гвозди в польское седло,
на узкой перевязи в ряд
три ярких звездочки блестят.*

Хоть суть их искрометна,
в них холод инструмента,
ножа и сердца спор
и скальпелей набор.

*Левей над ними — белый гейзер:
дымит, как магний, Бетельгейзе,
а ниже — Ригель стеклорез
не светит, а свистит с небес...*

А в стороне сторожкой Вега
окном небесного ночлега
горит,
и кроткий этот вид
опасно путника манит.

*Но глазу сладостны, приятны,
сияют милые Плеяды...*

Сюжет

...Бег Персея в ночи оглашает он сам звоном света и меди,
как знаком победы,
остужают бойца самый бег и прохладная ночь,
и прохладная грудь Андромеды.
Альмах, Мирах — вот ласкам героя названья,
среди них поцелуй — Альферац.
Те же фразы и позы с тех пор повторялись не раз.
Альферац, Альмах, Мирах в обломках
поспешно разбитых цепей...
Бурный брак наблюдает из мрака,
глядит недоволен, угрюм царь Цефей,
но прищуренных глаз свет струится на всё
сквозь ресницы —
это зятю и дочери
благословение
Кассиопеи, царицы.

Но вот небесная дорога
прозрачная, ведёт отлого
к отрогам неба, в тот простор,
где не окончен давний спор.

В глубине сцены

Денеб мерцает нежно, мокро,
и свет его ласкает окна,
он и томит, и утоляет,
и взор любой навстречу тает.

Прозрачна грусть, прохладна нега,
где виноградинкою Вега

дрожит среди небесных тел,
благословляя наш удел.

Они сияют нежно, мокро,
их светлый свет ласкает окна,
и взор любой навстречу тает...

Любой, но только не Альтаир!

Перед зрителями

Глядит Орёл насквозь, до дыр
пронзительно на мягкий мир:
следит он тем же выраженьем
и своего птенца, и жертву,
и сеть, и ловлю, и ловца,
осуществителя конца.

И в ослепительном чернейшем этом свете —
презрение к бессмертию и смерти;
взиратель с неба твёрд, и остр, и жёстк:
вся грань земная, все алмазы — воск
под взглядом, гнущим Бога самого...
Смерть не бессмертна — знание его.

Но не будем, оставим до срока, ведь рано его разуметь:
до заветных времён и пригубить его не суметь (не посметь) —
двинет лыстью хвоста это слово, смолкают уста, рвётся сеть,
отступает ловец,
ну а слову-то, слову и дальше белеть, наконец.

Развязка

Ну и слово!
Но вовремя всё же приспело, настало...

А слова до конца так исполнили жизнь,
что уже бормотаньем исходят под настом —
на слогá разнимает их смерть.

*Что вязало двоих,
одного доконало...
Но который из них
оказался в живых,
и кого там списала канава?*

Но однако смотри —
ведь горчит же, торчит из забвенья
лес когда-то полезных минут.
И рябиной полезло с под снега
прутьё в забытьи,
позабыв, что для роста не время,
что срок миновал.

*Срок — он, верно, один.
Но бывает: далёко
мимо свадеб, крестин,
из пределов и длин
выбегает дорога...*

А уж если настолько
себя разогнать до конца,
если делом считать окончательный вывод,
выход будет:
из полостей запредельных
можно выпростать пользу.

Так рябина в декабрь забросила кисть.

А на гроздь-то — дрозды...
То синицы, то — вот — снегири.

Снегири на рябине
и сами-то — красные гроздья,
а за кисть
или прямо за страсть ордена;
снегири на рябине
за эту посмертную пользу.

*Но взамен всех красот
вместо пользы он перца
при красотке трясёт,
сыплет прямо на сердце.
Бог прости страстотерпца!
Он ведь с ней визави,
и волнуют красавца
результаты любви —
что ж, давай, затрави
с ней любовного зайца.*

Но когда результат убегает,
тогда
нам
до этой ли цели?
Вёрсты, ветры потворствуют слову.
С этим делом, считай, что тебе повезло:
не красотку, красавицу славишь.
Тем же словом и местность свою обойми —
доросла до простора твоя непомерность.

*Потерпевшему страсть,
как крушение и бедство,
утешение всласть
будет, если припасть
прямо к родине сердцем:
— Вразуми страстотерпца!*

Настежь грудь, да и только!
Только травля любовного зайца
удаляется за поля, за болото;
залетает за озеро псовый тот порск,
где скотина пасётся за насыпью, скосом и лесом.

Страсть не вышла,
а терпишь её, словно боль.

*И нужны ль тормоза
твоим вздохам и пеням,
если ты уже за
нетерпеньем, терпеньем?..
Отстоялась слеза,
как ни взболтан, ни вспенен,
если слово само
разрешается — слышишь ведь? — пеньем.*

Святость мест, где любил.

Финал

Святость мест,
благовест,
свет окрест,
где любил;
там, где, тысячекрыл,
ты взлетел, ты прошил
даль и ширь,
глубь и высь —
все пределы сошлись.

Только слово да свет
свету с неба — в ответ;

многолет,
благовест,
святость мест,
где любил,
где ты был
в полный рост
с головою до звёзд...

Звёздный шорох и хруст...
И торчащий из уст
жалоб, воплей
пылает
красный скрученный куст.

ЭТО КТО ТАМ ВО ТЬМЕ ПОЛЫХАЕТ?

Это ночь по глоткам
всю скудель выпивает,
это песня, как фразу,
тебя по слогам выпевает.

Эпилог

Поэма кончилась, как ей хотелось — в полночь.
И вот она в молчанье продлена,
где слову отшумевшему на помощь
пришла бушующая тишина.
А слёз-то было, криков, чтобы — помнишь? —
остановить беглянку. Где ж она?

Не запереть мгновения засовом,
и женщину не остановишь словом.

Она в цезурах, в паузах жила...
Но помнит Геркуланума зола
о тишине посмертной — полым лоном,
пустотами, вмещавшими тела...

А где ж мой страстотерпец дымнолицый,
где этот спящий друг, двойник, сосед,
что плёл в ночи горячий полубред
и полувоплъ, хотя и с долей смысла?
Приснился он или со мною слился,
но я один. Его здесь больше нет.

А кто ж остался? Неужели — автор?
Но нет, в своё таинственное завтра
ушёл, поставив точку, бард, певец...
И оглянулся он с тоской внезапной
на песню, опустевшую вконец:
— А может быть, при ней остался чтец?

Читатель? Нет. На то надежды мало.
Пути иные там подведены.
Итак, во тьме сердечного обвала
один лишь есть — Вниматель Тишины,
к Нему моё молчание зывало!

Когда гудит орган столь мощно молча,
и бархатные бьют колокола,
и чувствуешь, как льнут к тебе из ночи
огромные прохладные тела,
поэма непрочитанная, значит,
тебя, твоё молчанье, сотрясла.

Таврическая улица, 1965–70

ДЕНЬ РОДИН

Был день 8-ого октября.
Какая-то разряженная фря
глядела хмуро на сырые зданья.
Шёл дождь. Она и вырядилась зря,
и ожидала зря свиданья.

Тут я прислушался...

Будильник прорычал 11 сквозь рыданья ...

Тут я прислушался: как будто кричит утка.

Кто там архангел или бес
влез в механизм, испортить время тщился?

Нет, хрюкает перо моё, как незабудка.

Никто, однако не воскрес,
и явно Судный день не получился.
А складывался день родин.

Есть числа... № 1001
проквалкал на заду автомобиля,
чьи запорожистые крылья,
ручаюсь, никого ещё не сбили.
Однако цифры парюю нулей
напомнили мне мотоцикл Харлей,
тем самым задавив Шахерезаду.

А ну, хозяйюшка, налей.
Счастливчик кряду

Две рюмки выпил коньяку,
и счастье откурлыкнулось: — Ку-ку!

Когда б оно давалось по делам,
по справедливости, а не манером подлым...

День лопнул пополам,
и пушка выпалила: — Полдень!

...тогда бы счастлив был я в день родин.

Я так один.
Я Райнера люблю Марию Рильке...

А как же та, что связь свою ждала?
Да, повернулась та в сердцах на шпильке,
и, бурно шевелясь, ушла.

...вскликнувшего: — Русь граничит с Богом!

Граница эта — на замке.

Как бы щипок Пирке,
на рукаве чахоточном, пологом,
любовники 5 щепок воспалили
и плачут оба: принятый зарок
неисполним.

Быть вместе — лишь в могиле.
И километры переходят в мили,
дымится грязноватый костерок.

Дым в сторону летит, неблагоприятный...

А в будке телефонной
один подлец о девушке своей

заклеветал, но стих, как соловей,
прошитый очередью многоточья...

...всю будку раскурочь я, —
сильней не проняло бы проститута...

14 часов 01 минута...

...чем те короткие гудки.

100-крат секундочки становятся горьки,
и время цедится сквозь зубы, как цикута,
когда конец его и день родин
назначены на день один и тот же.
Когда — один...

В — шалман, вот храм!
Здесь неудачник выпьет 200 грамм,
и все дела...

Под это дело килечка пошла,
но вот непруха:

стакан из рук, и — об пол — дрызнь!

Добро и зло — всё вместе —
смешались в жизнь
коктейлем 50 x 200.

Отрава. Всё же пьём. Худая мера.
А меряет фавор и горе эта гиря.

Я так люблю Бодлера...

Бодлера, слышите, люблю!
Не он ли написал на целом мире:

— Аля-улю!

Так скинемся же, братцы, по рваненькому...

— А ну отсюда вылазьте!

Выводят водочника из кабацкой пасти,

но постовой попался — человек.

Алкаш отпущен был во славу нашей власти.

Я так один, что, кажется, навек.

17.40 на запястьи...

За стонущий держусь я водосток.

Случайно этот миг я всё ж засёк.

И вот — свидетельствую: мир не изменился...

Но мальчик вдруг, зажмурившись, родился.

ПРОЩАНКА

За рекою нашей тишь, тишь, тишь...

Я б хотел тебя увидеть, слышь? Слышь?

До моей пустой деревни докатилась эта весть,
что тебя хотят, тебя хотят увести.

Что к тебе в такую глушь, глушь, глушь

воротился прежний твой... Муж?

Что сынок ваш общий плакал,

не хотел признать отца,

только ты опять пошла за пришлеца.

Или мне судьбу проклясть? Проклясть!

И залить худую — вдрызг — страсть...

А потом завербоваться и податься за Урал,
чтобы я себя и сам не отыскал.

За рекою нашей гром, гром, гром. ..
Я скажу тебе добром, добром:
где мои три лучших года, там твоя о них печаль!
ты посмела — так прощай, прощай, прощай.



ИЗ СЕВЕРНЫХ СТРАНСТВИЙ

Сентябрь, октябрь, ноябрь

Прозрачен, и сетчат, и пуст,
редеет осенний куст,
и, вбита, как красный гвоздь,
рдеет на нем гроздь.

И, роя себе меж туч
колодези, кладези, луч
залился таким серебром,
хоть черпай его ведром.

В рогожи увязанный сад,
ухоженный, так волосат,
что осень в телеге с мешком
и вовсе мужик-мужиком.

Коготь

Улавливая голыми руками
разрыв пернатого снаряда
(кнутом настигнутого ястреба),

пастух, как скареда,
его в брезент,
в раскрытый раструб,
не вынимая завтрак из мешка,

сует, замешкался —
картофелины, хлеб
помолоты резиновым ботфортом —

бой оперения —
туда его, туда —
когтящего...

Улавливая голыми руками
настигнутого ястреба, пастух,
уже не понимая кто кого
КОГТИТ,

сует его,
суёт его пропеллер или спицы,
неважно, всё туда,
в мешок, в мешок,

поехала клеенка от плаща,
соль из тряпицы
высыпалась, гложет
порезы.

Глаз. Неважно.
Снова глаз
сухой пощечиной
крыла его ушиблен.

Шипенье, клюв и костяной язык
всерьез уже грозят
другому глазу.

И — сразу
за спину мешок
с обломком птицы,

спуск ископыченный прошел,
за валунами,

(над валунами вилась ястребица),

за валунами изгородь была,
он уходил, согнувшись,
словно коготь,

прошивший
дождевую мешковину.

Так и вошел в околицу села.

В небесной мастерской

Может, и тепло несет Гольфстрим,
только едет холод вместе с ним.
Полуфабрикаты облаков
он привез, сгрузил и был таков.

А Варварин розовый погост
заготовки туч хватает в горсть
крестопалой кистью и всеядным
в зев суёт зеркальным водам Яндом
озера. Вечерняя заря
зря не светит, тучи краской метит,
в озере их месит и густит,
небу для фундамента мостит.

Скит небесный!
Запад — выход в бездны,
с миру красный выезд через грудь
на тропу с белеющей булыгой
к пристани ночной Губы Великой
с перекрестка и на Млечный Путь.

Низкое место

Не пройти б тебе через болото,
если б не случилась эта гать —
чья-то полусгнившая работа,
плотника дорожного, кого-то,
кто под треугольником кивота
сам уже истлел, но вот смотри-ка
помогает путнику шагать.

А, видать, старался горемыка —
плотно мастерилась эта гать,

чтобы за неделю смог калика
до часовни, что была — владыка,
а теперь — с травой равновелика,
пред глаза давно слепого лика
и домой за праздник дошагать.

А переберешься через гать
и дойдешь до местности лесистой
мимо развалюхи неказистой
до постройки истовой и чистой —
около нее подольше выстой
перед тем, как дальше зашагать,
и тогда в компании артельной
помяни молитвой самодельной
в волости безлюдной, многоельной
эту пригодившуюся гать.

Троица

В мягкой серебряной соли — коричневый снимок,
миг распластался на снимке, приплюснут и тонок,
и непонятно, кто тонет во времени — инок,
или турист, или, может быть, ссыльный подонок.

Только, куда б ни несло его праздное время,
где б ни щемил узкой щелкой затвор аппарата —
в мягком архангельском прахе иль в стихотворенье
всюду страхуют с боков его разом два брата.

Вместе и тонут — в словах, в проявителе, или
тонут во времени — трое с простецкой артели
в кадре по пояс, и в прошлом по горло, и всплыли
над головой — колокольни, дома, колыбели...

Когда идет гроза

Когда идет гроза над хлебным полем,
кладется крест движением невольным, —
слоновая гримаса в небесах
на этот грех всех тех, в безбожьи слабых,
трясущихся на грозových ухабах,
толкает под руку. И переходит страх
в крах подлинный. Слетает с душ мякина
и пух. И тянет пылью из овина
и чепухой успехов и утех.
Но смотрят из березовых прорех
спокойно
лемеха Петра и Павла...
Они себя от Симона и Савла
давно отшелушили, как орех.

Вечная весна

Вянет листва,
и калитки могли бы расплющивать пули —
так замкнули
казенные хозяева
свою дрёму с обеда на стуле...

Пыль по реке
из Череповца тянется вместе с жарою.
Бороду брею —
смыть приходится мыльную кровь на щеке
той же водою...

Та же река
предо мной запирает бетонные шлюзы,
и сухогрузы

издалека
и заборы поближе похоже сверяют бока...

Узко пока
 заходить — широко выйдешь после в просторы!
Красные створы
путь укажут, где вечная будет весна.

Это Шексна
 мертвый паводок так чудотворно разлила,
 будто весна,
 будто время, как в шлюзах, стонная сила
остановила,
 а сама — на подводные крылья, и — словно блесна...

Мчит Метеор,
 а вокруг-то ни граю, ни птичьего гвалту,
по Волго-Балту,
 вешний простор
 по Волго-Балту который уж год, до сих пор,
по Волго-Балту.

Отвертась

От смолистой крепко гнутой прямоты,
груботесанной души и высоты
и со деревянные кресты
двадцати-дву-славно-главой крыши
тяжкой, перегруженной до грыжи
и на срубе выведенной, иже
есть среди погоста, кой есть Кижы, —
полутора-мерные кусты
иль полу-деревья — вострят лыжи
и — гуськом по гребню — выше, выше,

к пахоте б щебенчатой поближе
да подальше бы от лепоты
тянутся.

В растительном миру
все они — расстриженные братья,
скрученные на сыром ветру.
Чтоб срамнее было — на юру
каждый — воротник рванул у платья.
Все-то вы — души самораспятыя —
все мы — суковатые проклятыя —
мол, своей судьбы не смел понять я,
а чужая — нет, не по нутру.

* * *

В руках у сплавщика дела решает вага
еловая, — в стада катает лес,
и брёвна в лесобойню тащит влага,
но гибель им под пилами — во благо,
и смерть еловая — еловый интерес.

А у воды вилявой нет подобной цели,
и в сгибах надобности загнила река:
там, задыхаясь, часто дышат мели,
тут мрут кряжи на илистой постели,
покуда не задохнись в топляка.

Их суть — огонь и сушь, они ж — как раз — утопли,
набрякли слизью, — трудно произнеть,
коснеют их глухонемые вопли,
размазалась кора в коричневые пули,
молчанье — как мычанье — тоже весть.

В круговорот золы, гвоздей, опилок — нету лаза,
а значит: либо жизнь дается зря,

на выброс, либо эта ржа да тля,
да спекшихся намерений зараза
их разлагает до другого раза,
пока не даст природа кругаля.

Утро вечером

На закат оглянешься — в глаза так и сыплется гнус,
ткёт на коже волшебный узор комариный укус,
волчьих песен умеет зырянская лайка немало
и у фляги молочной их пробует тоже на вкус.

Но не хуже мошки, и крапива не так донимала,
как вечернего к северу тока струя у привала
и ночная пора, пропадавшая в струях; глядишь —
у костра леденеешь: восход воспаляется ало...

В лапу рубленый угол у дома и крепкая тишь
нерушимы для трактора будут, и разве что лишь
невзначай обстучит ветерок у фарватера в створе
череду вековую, вдвойне озаренную, крыш.

Видно, крепко схватились над ними две равные зори...
Здесь не время течет — тихо морщится что-то в просторе,
и свобода по-русски — стократ повторённая даль.
Воля местная! С тем и выходишь на взгорье:
в столь румяную полночь
 пусть радостной станет печаль!

На краю

Дико разрумяненное небо,
и землистость привозного хлеба
на краю скоблёного стола...
И была б хоть в этом неминуемость!

Притерпелся, полюбил бы, мучась,
да одно беда — своя вот участь
где-то мимо дому пробрела.

Забывшему свет

Жилье впечатано во тьму,
как будто из окна наружу
дано светить ему
и сдабривать худую лужу.
Молчит, молчит,
а не скворчит она,
хоть отражение окна, —
как шкварка, путнику на вид.
Нет, свет в себя, вовнутрь глядит.
Он видит: выехал хозяин,
стол гол, дом пуст, повсюду убыль;
как аннулированный рубль
и как невыплаченный заем,
свет, бесполезностью терзаем,
оскалился.
Пылится перст,
грязнится риза чудотворца.
Першит от мусора и ворса
у ступы сиплое жерло.
Оно в скругленный угол, в крест
себя случайно навело.
Впустую сорок ватт горят
в густую ночь, в пустое утро;
на воронце в порожний ряд
пустая выстроилась утварь.
Гниет венец, всему конец,
стропила угрожают хлеву,

на пашню наступает лес,
крапивой к небу
стрекает сорная земля...
Какому мраку на потребу
скормил ты свет, стравил свои поля?

Любой предлог (Венера в луже)

Зрит ледяное болото явление светлой богини...
Пенорожденная — вниз головою с небес
в жижу торфяно-лилейную под сапоги мне
кинулась, гривной серебряной, наперерез.

Бедная! Белая — в рытвине грязной она отразилась...
Видно, и в самой ледащей из наших дорог —
лишь бы вела! — с ней замешана общая милость
низкому озеру Вялью и острову Милос,
и пригодится для чуда любой завалищий предлог.

Вот и гляди в оба глаза на мокрые плоские глади:
чахлые сосны, коряга застряла как хряк,
да лесопилка сырая всё чиркает сзади;
в кучу слежались опилки, и будка на складе
в серых подтеках глядит — отвернись от меня, Бога ради!
Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!

* * *

Как топор без топорща
медленно по звёздам рыща,
выйдет месяц на ущерб
над гниющею деревней.
В тишине, без ударений
он навалит нежных щеп.

Без усилия, дремотно
даст он видимость ремонта,
полуночный доброхот, —
стешет преющую слегу,
вставит, вынув из высот,
в безобразную телегу
шкворень лунного стекла.

Боже! Сколько в мире зла,
залитого свежей ложью,
где бездействуют дела,
и откуда жизнь ушла
в города по бездорожью.

Строки

Свежий голос ручья из распадка,
быстрый высвист из птичьей груди, —
и сложилось мгновенно и шатко:
— Если любишь меня — подойди!

Но — случайно ли? — фраза лесная
попадает в само существо:
только так и любить бы — не зная,
Боже, толком-то даже — кого?

И в беспамятстве или в бесцельи
через мох, через нежную грязь
вот сочится из глинистой щельи
струйка жалкая, к низу виясь.

Чей-то прах отзывается, что ли.
на котором замешен и я,

только нет здесь ни счастья, ни воли, —
лишь волненье любовное в горле,
да прозрачные вскрики ручья.



ФЕДОСЬЯ ФЕДОРОВНА ФЕДОТОВА
(1920–1998)

Свет Фёдоровна, мне тебя забыть ли?
Архангельская няня, ты была
для нас — душа домашнего события:
похода в лес, накрытия стола.

Ты знала верный час для самовара,
для пилки дров и для закупки впрок
кочней капустных, — и меня, бывало,
гоняла не один втащить мешок.

Могла сослать на дедову могилу:
ограду красить, помянуть, прибрать...
Твои-то детки, не родясь, погибли.
Война им не позволила. Мой брат,

да мы с сестрою сделались твоими
при матери красивой, занятой,
при отчине, которому за имя
я тоже благодарен. Но — не то...

Какая избяная да печная
была ты, Феничка; твой — строг уют.
А кто ко мне зашёл, садись-ка с нами:
— Ешь, парень! Девка, ешь, пока дают!

И, разойдясь перед писакой, тоже
туда же сочиняла (кто — о чём)
полу-частушки и полу-колажи,
складушки-неладушки, калачом:

«Ведягино да Семёново
к лешему уведено,
Шишкино да Тырышкино
шишками запинано».

То — все твои гулянки-посиделки
на Кенозере. Там я побывал.
Краса, но вся — на выдох, как и девки,
что хороводом — на лесоповал.

В семью пойти — кормёжка даровая,
ночлег. Из окон — липы. В бочке — груздь.
Под кой и выпить, вилкой поддевая!
Да не за кого... Вот такая грусть.

Свет Фёдоровна, где теперь ты? В весях,
должно быть, трудно-праведных, где — высь,
где также — низ и погреб, корень вепский
и староверский нарост — все сошлись.

Тырышкино, лесоповал, Таврига,
стряпня да стирка, окуни-лещи,
на даче — огород. И жизнь — как книга
в 2–3 страницы, сколько ни лица...

Как ни ищи, не много выйдет смысла,
кто грамотен. А если не сильна...
А если был тот смысл, пятном размылся.
Но есть душа. И ты для нас — она.

*8 августа 1998 г.
Шампейн, Иллинойс*

БОГАТЫРСКАЯ МОЛИТВА (переложение с чувашского)

О, земля моя, тёмная мать!
От подзолов твоих дай мне силу
всю тяжестью мира в груди моей перестрадать;
пересилить и выдержать всю добровольную кладь
дай влюблённому сыну.

О, земля моя, тёмная мать!
Принимай же в себя по колению,
чтобы силами новыми сына опять напитать;
выправляет мне жилы сырая твоя благодать
материнского плена.

Только начали силы играть, —
глядь: совсем погрузился, по темя...
О земля моя милая, жадная, — тёмная мать!
Растворяя в себе, ты пустилась меня обновлять,
словно хлебное семя.

1967

ВОЗМОЖНОСТИ

Всей безобразной, грубою листвою,
среди остальных кустарников изгнанник,

лишенный и ровесников, и нянек,
всерьез никем не принятый, ольшаник
якшается с картофельной ботвой.

При этом каждый лист изнанкой ржавой
уж не стыдится сходства с той канавой,
в которой грязнет, глохнет каждый ствол.
И гасится матерчатой листвою
звук топора, которым огородник
старательно пропалывает свой
участок от культур неблагородных,
остерегая весь окружный лес
селиться на его делянках, здесь.

И валится ольха. Но не на *отдых*,
а сорняком и плевлом от древес.
Из этих веток, в стройке непригодных,
хозяин настиляет пол на сходнях,
чтоб выбирал он грязь из низких мест.
И к небесам взывает красный срез.

А новые растут из торфа, глины,
и у провисших в озеро небес
нет дерева прекраснее ольшины,
когда она свой век до половины
догонит, не изведав топора:
и лист по счету, и узор вершины,
и чернь ствола, и черные морщины,
и в кружевных лишайниках кора,
протёртая на швах до серебра, —

приметы так отточенно-старинны,
что дерево красавицей низины,

казалось бы, назвать давно пора,
и впереди ветвистого семейства
она по праву заняла бы место;
в ней всё — и шишек прихотливый строй,
тушь веток и законченность их жеста,
и поза над озерной полосой,
и стать, посеребрённая росой —
всё поражает позднею красой.

Но есть в ней отчужденность совершенства.

13–14 сент. 1965

ТРАУРНЫЕ ОКТАВЫ

Памяти Анны Ахматовой

Голос

Забылось, но не все перемололось...
Огромно-голубиный и грудной
в разлуке с собственной гортанью голос
от новой муки стонет под иглой.
Не горло, но безжизненная полость
сейчас, теперь вот ловит миг былой,
и звуковой бороздки рвется волос,
но только тень от голоса со мной.

Воспоминание

Здесь время так и валит даровое...
Куда его прикажете девать,
сегодняшнее? Как добыть опять
из памяти мгновение живое?

Тогдашний и теперешний — нас двое,
и — горькая, двойная благодать —
я вижу Вас, и я врываю вспять
сквозь этих слез в рыдание былое.

Портрет

Затекла рука сердечной болью...
Как Вы посмотрели навсегда
из того мгновения на волю
в этот вот текущий миг, сюда!
В памяти я этот облик сдвою
с тем, что знал в позднейшие года.
Видеть Вас посмертною вдовою,
Вас не видеть — вот моя беда.

Взгляд

С мольбой на лбу, в кладбищенском леску
в день грузный и сырой, зимне-весенний
она ушла от нас к корням растений,
туда, в подпочву, к мерзлому песку.
«Кто сподличать решит, — сказал Арсений, —
пускай представит глаз ее тоску».
Да, этот взгляд приставить бы к виску,
когда в разладе жизнь, и нет спасенья.

Перемены

Холмик песчаный заснежила крупка,
два деревянных скрестились обрубка;
их заменили — железо прочней.
На перекладину села голубка,

но упорхнула куда-то... Бог с ней!
Стенку сложили из плоских камней.
Все погребенье мимически-жутко
знак подает о добыче своей.

Все четверо

Закрыв глаза, я выпил первым яд,
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела; в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Встреча

Она велела мне для «Пятой розы»
эпиграфом свою строку вписать.
И мне бы — что с Моцартом ей мерцать,
а я — о превращеньях альбатроса
непоправимо внес в ее тетрадь.
И вот — она, она в газетной прозе!
Эпиграф же — и впрямь по-альбатросьи —
куда вдруг улетел — не разыскать.

Слова

Когда гортань — алтарной частью храма,
тогда слова святым дарам сродни.
И даже самое простое: «Ханна!
Здесь молодые люди к нам, взгляни...»

встает магически, поет благоуханно.
Все стихло разом в мартовские дни.
Теперь стихам звучать бы невозбранно,
но без нее немотствуют они.

1971

СПРЯМЛЕННЫЕ ПУТИ

«Поезд прибывает на вторую путь».
Из громкоговорителя

Еще проверите, я верно говорю.
Пусть город наш чугунную зарю
стыдится окунать в пластмассовые лужи!
Когда-нибудь, когда не будет хуже,
мы слово исцелим словесностью от стужи
и ту же путь не пустим к букварю.

Любую грамоту читающий с листа
Набоков, он же Сирин, неспроста
сказал про нашу речь — подросток захохотеться.
Обидно, да, но есть у нас холуйство,
и кости в языке спрямляются до хруста
едва свобода освежит уста.

Но я хочу ему напротив подчеркнуть,
что у письма есть храмовая суть,
и не в стилистико-медовых ароматах, —
скорей — в полумычаниях громадных,
где исказился честный лик грамматик,
и вся скривилась правильная путь.

Хрусталик ока замутненный и хрусталь
родного говора врачует Даль.

В черновики времен! За ним — до Вавилона...
В семантику, до семенного лона
и далее, откуда стоном Время Оно
заносится в новейший календарь.

И что же? Все путем! Не мальчики — мужи
впряглись уже в словарные гужи.
Распашем же, распишем лист ЕДИНЫМ СЛОВОМ.
Сперва — с заглавной, корень всем основам,
а после — с прописной, — и мир перебелован...
А наша речь отменна, не скажи!

январь 1971

* * *

И. Л-е

Все греки были юными, не так ли?
Я бы хотел немедля Вас раздеть,
чтоб Вы сплясали подлинный сиртаки...
Простите, и в тунику Вас одеть.

Свирель — в свищах от свиста; бычьи струны
под пальцами распяленные, в лад
на черепе козла размазанно гудят.
Не правда ли, все греки были юны?

И мне напомнил дивный ритм ноги
игру морского мальчика с дельфином.
Мой бедный дух, побитый духом винным,
вкруг Вас дает смертельные круги.

Своим руном к Вам напоследок льстится
борзая шкура, и случилось так,

что в тот же танец, козлоног и наг,
вплел кто-то топотком свои копытца.

Мне долгое дано несчастье петь.
А Вам на миг стремительное счастье
по мановенью ритма умереть,
как юная менада, в одночасье.

30 авг. 1971

СОНЕТ

Словесность — родина и ваша, и моя,
и в ней заключено достаточно простора,
чтобы открыть в себе все бездны бытия,
все вывихи в судьбе народа-христофора.

Поток вокруг ног бренчал залиvisto и споро,
и приняла в себя днепровская струя
Перуна древний всплеск с плеч богобора
и плач младенчика, и высвист соловья.

Народу своему какой я судия,
но и народ пускай туда не застит взора,
где радужный журавль, где райские края,

где песнь его летит до вечного жилья...
А впрочем, мало ли какого вздора
понапророчила нам речь-ворожея!

сент. 1971

БУДЕТЛЯНИН

Что-то лепечет листва верховая —
это ночной Велимир, колоброд,
так выдыхает свои волхвованья...
Так, что изнанкой навыворот — рот!

Чуешь, и чувству такому не веришь,
но по вершинам идет налегке
наш коренной председатель и дервиш.
Только стихи шевелятся в мешке.

В них разливаются чудью озерной
мера да кривичи с весью лесной.
То неразвернут язык, то разорван —
странно опасный, чудной, озорной.

Вместе — не каждым листком или словом —
общей листвою древлян и древес,
ясенной мазью и маслом еловым
скулы черёмит, шалит, куролес.

Как из ручейного бучила — вычур,
свирь саранчевую, птицын чирик —
прямо живьем, целиком закавычил
пращура — в свой белой черновик.

Но не дремуч — лишь юродив и странен;
так и велит повернуть и не ждать
бывший на нашей земле будетлянин:
— В путь — сквозь былое — за будущим — вспять!

Общее дело листвы — облетанье...
Страшно сказать, но земля всё родней;
всё обитаемей в ней стала тайна:
труд сокровенных и сладких корней.

январь. 1977

СЛОВА (мой манифест)

Был извилисто телесным,
задышал и стал словесным —
пульсом пущенный мотив,
устье кверху обратив.

И по розовым излукам
полусмыслом, полузвучком
тайно вспыхивает грань,
и блаженствует гортань.

И в самом произнесеньи
из словесной тесной зерни
порождается на миг
жизни маленький двойник,

чуда крохотный источник,
беглый смысл, минутный очерк
человеческих потреб
и божественный портрет.

Целомудрием покрыва
немота объемлет Слово,
но обмолвки тишины
в языке разглашены.

С ним согласны равно оба —
небо звёздное и небо.
Ну какой же это враг:
и солгал бы, да никак!

Только звуки у Глагола,
непомерного для горла,
пострадавшего за ны, —
страшны, влажны, солонны...

Написано в комнате на Петроградской стороне в 1973 году.



ПОЭТУ

Звук ангелу собрат
Н. Клюев

Струны дико и туго
натяни на подрамник,
чтоб из цвета и звука
рвался ангел-подранок.

Послушай получше:
ближе, ближе... Слови его
и у слова вылущивай
суть соловьиную:

то выкатит лаково
полновесные свисты,
то рюмит заплаканно,
пусто и чисто.

А какой-либо цели
туда и не вкладывай,—
нет самоценнее
умного лада:

то слегка, то свирелью
то собой залимонирует
по сиреневым,
по прохладным бемолям.

То, швырясь роялями
в горлоухое эхо,
вытворяемым
тешит Бога и Эго...

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Уносит всё река времён...
А что и остаётся,
тому конец определён
и вечностью пожрётся.

Но длительнее всех примет
для шествия земного,
по-видимому, всё же — нет,
не царственное слово.

Но жалкое, но — в свой же мрак
до Божьего огарка
так пролепетанное, так
прорыданное жарко,

что часть предвечную, алмаз,
светящуюся точку,
на время вложенную в нас,
течением лет проточит.

И та взойдёт по крутизне,
прорезанная блицем,
как бы на рисовом зерне
писцом бронзоволицым.

Сольётся крохотный карат
с пылающею бездной...
— Так не корить же, не карать —
спасти Отец небесный

сораспинаемого смог
за миг перед кончиной!
А жизнь...
Что наша жизнь?
— Предлог?
— Для песни лебединой!..

1974

БОРТНЯНСКИЙ

Бортнянский. Православная Россия.
Над всеми висит, светясь, *Ave Maria*.
Мы слушаем его, её как бы впервые,
взмывая на воздушных завитках.

И музыке в ответ великой, малой, белой
Капелла звёздная над певческой Капеллой
в подпругах всеми скрипами запела,
кренясь на серафических ветрах.

декабрь 1970

ПОПЫТКА ТИШИНЫ

Вы-ырвало мальчика в метро,
бедному брыжейки развязало,
вывернулось томное нутро
прямо под концертной залой,

где к р а с и в ы й Шопен,
как король голубиный,
«гули-гули» со стен
в залу сыплет лавиной,

и н е б е с н ы й Моцарт
льет, у струн занимая,
серебро лунных царств,
а толпа — как Даная,

где из скромных убранств
нас пленяет без лести
с к у ш н ы й ведатель Брамс
гармонических следствий,

и, как лунный резец,
некий ангельский профиль
на тетрадках сердец
наш рисует Прокофьев.

Как музыка пришла к нам на болото,
про это знает Пётр,
был в государстве слишком воздух спёрт,
звучала в нем желудочная нота...

Понадобились две-три вертикали
тогда на сквозняке сыром.
То ангелом бия, то кораблем,
их в землю утыкали.

И что ж? Случайным инструментом
архитектуры золотой
струна была задета в лире той, —
в решетке, разумею, чугуно-медной.

И вазы ручками на ней махали,
и с хором записных певиц
сладчайше делал знаменитый Фриц
во фразе восемь придыханий.

О Господи, как пел он «Свете тихий»!
Всё б дал, чтоб Фрица услышать.
Замолкни, ямб, умри навек, пиррихий, —
раскрою тишь, как белую тетрадь.

Тихо, тихо пишет снег,
пишет жизни, пишет души
по забвенью их навек,
и вычеркивает тут же.

И на сером фоне стен
вновь записывая, мучит
симфонических систем —
по безмолвию — беззвучьем.

Стилизован под ампир,
тихо рушимый, прекрасен
этот белый бедный мир
в кривизне своих балясин.

Белым крапом снял он цвет,
выпил, высосал объемы,
в точку, в нуль списал, на нет —
линии, узлы, изломы.

Чертит снег, летит мелок —
в стиле нежного кубизма
он рисует эпилог
мирового катаклизма.

Тихо пишет тишиной,
оглушая мняще мнимых
той единственной ценой
истин непроизносимых...

Вышел мальчик из земли,
бледный изжелта, но тот же,
видит — снегом замели
ветры вечер этот тошный.

Постояв у Дома книг,
вяло думал он: сегодня
проморгал я страшный миг,
дивный миг Суда Господня.

1969

СПб

возгласы

Это ли не город-ключ
Первозванного Петра?
Ангела пята с утра
опирается о луч...

Вызолотя высь иглой,
здесь воцерковляет шпиг
государственных гробниц
тяжко оградённый строй.

Это ли не побратим
твой, что над Невой навис,
мысля головою вниз,
горний Иерусалим?

Это ли не в твой указ,
Спасе золотой, пальбой
половиним день любой,
звонко четвертуем час?

Слышите? Курант! Курант!
Циркулем для умных мук
человек распят на круг,
вписан в звездной квадрат

кронверка. И — равно — над
храмом и тюрьмой (у нас,
вольно-крепостных — все враз!)
слезно преломился взгляд...

Шпиль! И — двунебесна цель:
то ли восклицает знак
царское: «Да будет так!»,
ангельский ли возглас: «Эль!»?

Господи! Какой провал
дико перевернут вверх,
чтобы и на третий век
граней пересверк сиял.

Видно, что молельщик есть
крепкий на святом посту:
воин ледяной в скиту
тихо сотворяет крест.
Ангел да корабль горят
в скважинах небесных круч...
Это ли не город-Ключ?
Только от каких оград?

1979

ВИДЫ

Марианне Басмановой

Не декабрь, а канделябр-месяц:
светятся окурки в глуби лестниц,
светятся глаза иных прелестниц,
зрят из под зазубренных ресниц;
светят свято купола Николы,
охлаждая жар, и окна школы
отбивают явно ямб тяжелый
и зелёный блеск наружных ламп.

На полметра высунулись ровно
в водостоках ледяные бревна,

нарисован город столь условно
сразу после оттепели, но
на часах выстуживает время
прапорщик-мороз. Ручное стремя
так само и прыгает в ладонь;
под колено бьёт скамья, что вдоль
в ящике раскрашенном трамвая.
Едешь, на ходу околевая,
веруя: мол, вывезет кривая,
ежели не выдаст колея...

Белая, средь белых листьев, роза
в состоянии анабиоза
вдруг нарисовалась на стекле.
Это — мысль мороза о тепле.
Прапорщик-мороз, мороз-хорунжий
мира захотел при всём оружьи,
спирту ледяного, стопку стужи
он людскому вдоху предложил.
Вот и спотыкается прохожий,
и, на душу голую похоже, —
облако дыханья возле рта
держит он за край, замкнув уста.

Но заиндевел мороз-полковник
и один из видов законных,
словно бы окладом на иконах,
обложил на пляшущих стенах.
Там дома, собор собой закрывши,
и кресты, сияющие выше,
образуют кладбище на крыше,
золотое кладбище в душе.

Столько золотых надежд на чудо
и воспоминаний в нас — о т т у д а, —
всё должно вернуться из-под спуда,
только не вернется никогда.

Да, на уверяющим залогом
на бегу тяжелом и убогом
вижу я в продышанной дыре,
как с фасадов маски шлют гримасы,
львы встают, и шевелятся вазы,
головокружительные трассы
ангелы выводят в декабре.

1969

* * *

Евгению Рейну

Крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов, сидящих
в такой же точно позе на другом
конце моста и на него глядящих
такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост
удерживает третью существа,
а на две трети сам уже собрался,
и, может быть, сейчас у края рва
он это оживающее братство
покинет.

Но попарно изо рта
железо напряженного прута
у каждого из них в цепную нить
настолько натянуло звенья,

что, кажется, уже не расцепить
скрепившиеся память и забвенье,
порыв и неподвижность, верх и низ,
не разорвав чугунный организм
противоборцев.
Только нежный сор
по воздуху несёт какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,
не в силах замутить оригинала,
желая за поверхность занырнуть,
подёргивает зеркало канала
нечистым отражением.

Над рвом
крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов напротив:
в их неподвижно гневном развороте,
крылатость ненавидя и любя,
он видит повторенного себя.

Март — апрель 1964

ГОЛУБКА

Шелестит, и нежна, и строга,
гулит, губит поклонника... Право,
промолчать, и вся недолгá...
Но слепая велела канава!

И откосы, их явный позор,
ломовые их автомобили,
полуслужбы моей полный вздор —
чем могли, кое-чем пособили.

Правда, мост не смог отразиться тогда —
осрамил его сорный ветер...
Выражение как бы стыда
у ландшафта в тот миг я заметил.

Словно замысла первопейзаж,
в нём перевернутый до окаянства,
увидав, увидало себя ж
так, во всей затрапезе, пространство.

Но выкатила вдруг гром
гроза на кровельном ложе,
с перевёрнутым кораблём,
не скажу, что с голубкою, схоже.

Дождь, рваную снасть,
струи, ванты, по крышам, по шпилям
протаскив, в душу прошлась
и несоразмерным усилием

приложилась... Но матрос от небес,
ветром стянутый в горло залива,—
мнилось — ты, что забился в подъезд.
не успев до конца с перерыва.

Прошла... И сколь унижен репей,
а и тот в ста коленях сиротства
не за полы теперь,
но к проезжему чуду приросся:

— Отреклась...
Но велела — не меньше, чем бездной
мерять нищую страсть
к ней же, гибельной, к ней же, небесной.

К ней, голубке ужасной, и я
до конца привязался... Но что там?
Метров за восемь била струя,
фонтанируя вниз, к нечистотам.

Городская урыльня, урок
так усвоен тобой голубиный,
что и тот же восторг
льёшь позорной лавиной.

И любителей, вижу я, — тьма!
И уж клювы, и крики, и крылья
на такие корма
налетели, и — пир изобилья

чайкам вижу, и зарч их протух...
Но пируют, я зрю, альбатросы,
и, увы, буревестников вдруг,
отбиравших у крячек отбросы,

вижу я. Научи меня, речь,
быть и противобыть. И к защите ль
у тебя от тебя же прибечь?
Пожалей, вот пейзаж — мой мучитель.

ноябрь 1968

* * *

До чего же она неказистая,
дверь в котельню и та же стена,
но так жарко, так, Господи, истово
и сиротски так освещена,

да и в куче кирпич, так он лыбится,
что свести свои годы вот здесь,
даже в эту оплывшую глыбицу
я бы счастлив... Но тут кто-то есть!

За трубою и топочным боровом.
перекрещен растяжками труб,
головой о забор особорован,
кто здесь есть-то?.. Как стелют тулуп,

не тулуп он, саму неминучую
постелив, хоть какую невесть
самодельную или по случаю,
но свою же, свою... кто-то есть?

И откуда ж — оттуда, не иначе,
так и светит, и видно везде
до гвоздя в горбыле, до крупиночки,
до чешуйки на ржавом гвозде.

Или сам же себя до ничтожества
я довел, да и вот он я весь,
или замысел мой уничтожился,
искажаясь до нельзя, но здесь —

никого. Только перышко медленно
до шестого, поди, этажа
подхватилось, и там, незаметное,
всё кружит, как живая душа.

1968

* * *

Тебя, тоскуя о твоей пропаже,
наставница ребячая, ничья,
не нахожу в промышленном пейзаже, —
и заживо мертвеет жизнь моя.

На фоне виадука и сарая
идешь ты, силой нежною дыша,
и тут я поражаюсь: вот какая,
оказывается, моя душа!

Ты на глазах творишь себя, как чудо,
и сходятся мгновенные черты
с чертами абсолютными — оттуда.
Я — за тобою. Но зачем здесь ты?

Чтоб укорить несовершенство края,
одною только зримостью греша?
Чтоб нагляделся я: вот ты какая,
оказывается, моя душа!

Бывают в этой сплошности прорывы
туда, где свет, — отсюда, где склады...
В мистическом едином теле живы
мы были бы. Но врозь ведут следы,

тебя от перекрестья отвлекая.
А мне бы все глядеть, как хороша,
и все не наглядеться мне, какая
моя и не моя уже душа.

1972

И ЗРЕНИЕ, И СЛУХ

Елене Шварц

Зеницу глаза абразив созвездий
у астронома острит и гранит,
и на сетчатке оседают вести.
И, оснащён глаголами планид,
своей полусестре-полуневесте
он посылает взгляд-многоочит
и видит: белый камушек на месте
её сердечка в темноте стучит.

Когда окном небесного ночлега
мне голубая искрилась звезда,
я думал: Виноградинка и Нега
(так светоч называл я иногда)
мне посылает направление бега.
За Лирой балансировал туда,
по этой струнке, голос мой, но Вега,
должно быть, отвернулась навсегда.

И новыми наплывами запела
в сверканьи херувимских горл и крыл
благословенно-яркая Капелла.
Казалось, я навеки наслаждал
и зрение, и слух, и дух, и тело,
но колесницу с нею укатил
Возничий вдаль от моего предела...
Тогда я отвернулся от светил.

И вдруг увидел, как крупинкой льдистой
на камушке замёрзшая вода
мне отражает самый центр диска.

небесный центр — на крупинке льда!
И вот уже в глаза мои глядится,
луч преломив, Полярная Звезда.

Так видел Дант мерцанье Парадиза
на самом дне страданья и стыда,
так, дважды преломлённый, луч традиций,
упал случайно в этот стих, сюда.

— Но морехода взор и слух радиста,
ведущие Улиссовы суда,
в Медведицынах ласках возродиться
сумеют ли? Рассеянное «да...»
бормочет мне глухой и ломкий дискант,
да камушком сердечко иногда...

10 февр. 1973

ИЗ ГЛУБИНЫ

1.

То ли вишенью, то ли буру
подмешали в чернила:
что ни выпишется перу —
всё — кроваво, червиво.

То ли это калечится мозг,
так буквально язвимый,
словно беса колючего Босх
запустил вдоль извилин;

то ли, — жертва любовных ловитв
под рукой сердцелова, —

растлеваемое, вопит,
вырывается слово.

Нарывает, рыдает о двух
душах, до крови рваных,
весь в буграх, искореженный Дух,
как терзал его Кранах.

2.

Что ни час, то неровен...
А в часу нулевом
кротко блеющий Овен
пожирается Львом.

Срок истек человечесий.
В том и прок неземной, —
насыщалась бы вечность,
что ни миг, новизной.

3.

Дух со следами огня
наклонялся, и жаждал в меня
углубиться.

Тень по границам лица
и внимательный взгляд пришельца
вспышкой блица,

копотная полумгла
и пронзительный взгляд, как игла,
были близко.

Видно, выискивал брешь.
Двух кровей перейденный рубеж
и расписка

вызвали дух из огня.
Наклонялся, и жаждал в меня...
Я отбился.

4.

Куда с паденьем Люцифера
пробита шахтою дыра —
катастрофическая сфера
и центр ядра,

и самый гвоздь существованья,
где боль его, и крепь, и кость
вселенская и мозговая
прошли насквозь,

где заживо ороговела
и одеревенела глубь,
но ржавая в крови каверна
проникла в луб, —

оттуда, из кромешной точки,
где все начала сведены,
забил таинственный источник,
ИЗ ГЛУБИНЫ.

5.

Из глубины земной, воздушной, водной,
сребрься и восклубляясь голубым,

пусть разрастется пульс во мне сегодня
до огненных и духовых глубин.

Пусть он развалит время, раскрывая
у мига — немигающую высь...
Здесь — вечность человечится живая!
Мое мгновенье, здесь остановись,

где нестерпимо радуется рана,
где саднит, мною ставшая на треть,
та жалость о себе, что слишком рано,
а я готов, согласен умереть.

Не раз я был учён, молчу и знаю...
Но хочет за пределы и края
запутанная, всякая, земная,
вот эта жизнь, какая есть, моя.

И в толщах бытия куда мы денем
сей нужный возглас: — Человеке, сгинь!
Пусть удами во мне трепещет демон,
но блудный сын свой путь уже проделал
в отцовскую чернеющую синь.

авг. 1976

* * *

В груди гудит развал,
а память — скромница.
Да это кто ж сказал,
никак не вспомнится:

«Христианин — мой дух,
душа — язычница.

За несогласье двух
с меня и взыщется?»?

Такому должно тлеть
в стихах у Наймана.
Принадлежит на треть
обоим нам оно.

Да, это быть могло
у друга-братика, —
я узнаю стило.
Его ли практика?

Ну, так она ничья...
Но прежде — Ардову
ее отнес бы я
вот с этой правдою:

— Дышать не вмоготу!
А что причиную?
Не обручить чету
неразлучимую.

Дух одержим одним,
душа — капризница.
И не расстаться им,
но и не сблизиться.

Он — мистагог, монах,
почти — у вечности.
Она во временах
увы, увечится.

И все же суть ея
— зиянье трещины

по нем — крестом. А я
как недокрещенный.
В груди разгул, развал.
Лишь память мучаю
— кто ж так умно сказал,
и прямо к случаю:

«Христианин мой дух,
душа — язычница.
За несогласье двух
с меня и взыщется?»

декабрь 76

МЕДИТАЦИИ

о. Александру Меню

1.

Покатой глубиной утолена,
медлительно скользит голубизна
и в бездне опрокинутой витает;
питает и таит она одна
и слёзный, и глазной хрусталик.

Но вспыхивает грань,
голубизной наполненная всклянь
до искристого перелива,
и взгляд в голубизну летит счастливо.

И видится прозрачный взлёт
в бесчисленные полосы высот,
в зенит, к живым высотам,
туда, в лазурь, блаженную, как мёд,

где мысль медовая свеченье льёт
и льнёт к небесным сотам.

А за размытой бирюзой
и взгляд, и мысль, повитые слезой
от незаметных цветковых увечий,
целительные вызывая встречи,
в упор касаются Ресниц,
и — взором проникаются Зениц,
и — Мыслью — неземной, не человеческой...

2.

Воздушное струенье
и восходящий ток
вдруг вывернули зренье
под лобный потолок,
где, стиснутое в толщу,
отбросило оно
пронзительную точку,
подзорное зерно.
И в разуме громоздком
тот высветило толк,
что любованье мозгом
есть первый завиток,
есть вольт самосознания,
залёт в открытый храм,
и — в самое зиянье,
сияющее там...

Так, воспарив, извивы,
сдуваемые вбок,
сквозь листиков оливы
увидел голубок,

до края окоёма
катящуюся течь,
что тяжестью влекома
в излучинах залечь.

По вечной сердцевине
и вдоль изнанки век
мой замысел и выверт
сквозит навывлет вверх,

где сдавленные ткани
и веющая высь
свернулись завитками
в одну и ту же мысль,

что мы с тобой на память,
вселенная-близнец,
живыми черепами
срослись в один венец,

в один блаженный ужас.
Напружась, ум свивал
цветущую окружность,
где центром — идеал.

Да, так наименован,
с тем словом и возник
всем оболочкам новым
образчик и родник, —

самоначало смысла!
Сосок его ростка
не в лепесток развился —
в идею лепестка.

В себя же и нацелясь:
исчезнуть, облачась, —
нагая эта целость
отслаивала часть

за частью. И вставала,
спелёнута в постель,
в листы, в напластованья
спиральных лопастей, —

Мистическая Роза, —
вместилище и кров
для трепетно и розно
развернутых краев.

Край мозга и пространство
окраинных крутизн,
свирепа и прекрасна,
пронизывает жизнь.

Меж уголков и складок,
среди тенет, где нет
ни тени, — дик и сладок,
всё пронизает свет.

Весь мир светло и страшно
проскваживает дар —
божественные брашна:
амврозия, нектар...

...Душа, роток открытый,
росу небесных сот
с благословенной сытой
из вечности сосет!

3.

Не отрицаю: знаю — не достоин...
А сердце льётся в тихую зарю,
и плавлюсь я, говею и горю,
среди кристально-ясного настоя
страданье вызываю золотое,
и ужасаюсь, и благодарю.

Да, в центре, у каемки, на краю
страшит зрачок, сведенный, окаянный
впуская мириады, океаны
Твоих сверканий, Свете Мой Царю,
и я зарю за цвет благодарю
за раны в созерцаемом сияньи.

За то, что изумительно слиянны
и зло, и благо; за каратом гвоздь
в незримую Зиждительную горсть
и — далее — в мои проник изъяны;
что муку вижу я как бы из ямы,
но высвечен до сердца и насквозь.

И вдоль извоев зренья, толщу свойств,
пронизывая скрытыми путями,
нисходит луч светящимся питаньем
в глубины глаза, до животных звезд
и тканых средостений — вперехлест,
единым пульсом пусть бы трепетали

с зарей, ломимую прозрачным испытаньем!
Стопами сокровенными зари
от крестных единений изнутри

из полуклетки в полуслово прорастая,
блистая, занялась в груди Живая Тайна,
открыто-золотая: ведай, зри!

И, зренье новое беря в поводыри,
лети изломами целебного простора
туда, где молодая вечность свет простерла.
Там, Душе Всеблагий, благое сотвори:
возьми частицей в тело чистое зари!
Смели мои слова в молчание простое,
смети всю тишину в пустые словари,
и да раскроются ребристые устрои...

Уста серебряные... Слово золотое...

1975

ЦВЕТЫ

*Галочке Руби,
подарившей мне анемоны*

1.

Знаю, возможно... А ветрениц вислюю стаю
мне за цветы посчитать не дано.

Нет, невозможно, я знаю...

Или возможно, а стало быть, и суждено.

2.

Невероятный двукратный восход, я б сказал, —
рождество анемона
может меня потрясти до основ.

Влажно, и кротко, и гладко раскрытое лоно

ладится в душу себя вцеловать неуклонно...
Первым залогом... И цвет его красен, лилов.
Первым залогом и радужным абрисом края
свежая рана сладчайшая, сердца порез
сразу, с разбегу о белые нежные грани...
Я умираю, рождаюсь, родился, воскрес.

3.

Резвый цветок! А вот новый, из розовых линий,
темных мушек и жарких полос.
Мрак тигровый, ковровый, тяжелый, меня обуявший,
из лилий
изливается в дождь лепестков. И, светящийся, длинный,
за улиткою тянется лоск.

4.

Но едва ль тут сирени сырые провалы уместны... Да что я!
Неуместна, да и невозможна сирень.
Лучше ночь изнурить до конца белой метой левкоя,
и наружу бы выудить душу в курчавые кольца
гиацинтов, и будет пускай цикламен поскорей.
Или выпить до дна из пиона одним нескончаемым вдохом
нежность перистых, мощь кучевых лепестков.
Горек выдох, однако, и цедится даль маслом сохлым,
и мелеет душа у прихваченных тленом листков.

5.

Но начинается страшная роза.
Немыслимый, насмерть скручен цветок.
Изнутри загораясь, она, в желтой дури наркоза
сопротивляется сну. Но сон глубок.

Потревожу ль его? Распечатаю ль, изнемогая?
Да! Хотя б в покаянии рухнув, замаливать мой нежный труд,
пламенеет ли в нем с боголебедем Леда нагая,
или в глядах гранясь и играя,
роза розовогрудая смотрится в пруд.
Первой розе, и розе случайной, как и последней, исходной —
верю. Веру мою — роза — ласково — включь!
Глянь, что сделала — вот, не угодно ль?..
Грянь, будь розой ужасной, грозой будь свободной,
душу выдворь, побудь за нее, да и выпорхни прочь.

Таврическая улица, май 1969

Ты

Ангелом лабораторий
ты во младости была.
Всю — к тебе — с тобой — до тла
я любовь протараторил:
не было — и все дела...

Не было? Но если б глянуть
сквозь коллоид лет могла
ты, — не ты ли мне соляной —
в сердце — палочкой стеклянной —
ваву — кислотой возгла?

С кем же ты запретным брашном
делишься, лишь тем тепла,
что в люминесцентно-страшном
деле светятся тела?..

Дальше — даль — без нас — гола:
в календарном переплете

до пуста сгорела мгла.
Лишь касанием крыла
где-то врезавшейся плоти
в низком — над землей — полете
вдоль протравлена стрела...

17 сентп. 1972–77

СЮЖЕТ ИЗ ЖУКОВСКОГО

Примерно такие же, здесь же, в такую же пору
липы цвели, и такой же свистал в них певец,
в горле тёпло-прозрачную, близкую все же к минору,
но едва ли печальную трель полоскал.

И юнец —
славянин прикинул так же к нежному птичьему вздору,
так же точно не чуя конец.

Наконец,
невозможна, кошмарна, кромешна зеркальная лет
перспектива.

Наконец,
нестерпима, немислима мысль, что живет о миллиард головах!

Повторять её —
надо ли? Нам бы — победу на диво:
самое время бы Время раскупорить в прах.

Но мгновенье —
оно и единственно, а потому и — правдиво.
Каждый миг умирая, ему ли нам лгать в зеркалах!

26 сент. 1971

МГНОВЕНИЯ

В. Ф.

1.

Ты, единственный, дымный, чадящий,
жизнь черкающий, как черновик,
ты, себя, уходя, не щадящий, —
вот мелькнул, вот запутался в чаще
из деревьев, троллейбусов, книг,
пульсов, роз, поцелуев, гвоздик...
Нет святей, нет больнее и слаще,
нет — тебя, пропадающий миг.

2.

Хоть на полглотка — неполная
в полноте земного дня, —
вот какой тебя запомню я.
Ты запомнишь ли меня?
Иль в твоём текучем имени
кучей темного огня
все года мои, все дни мои,
жалкие, живые, дымные,
жаркие, спалят меня?

3.

Жизнь, мистический Грааль!
Если в жарком закуте
обретаемый рай
гибнет ежесекундно,
значит, время — цикута, —
пей, цветы, умирай.

Этой низкой игрой,
где никто нам не судьи,
увлеклись мы с тобой,
потому что до сути
недалеко отсюда,
шаг, — и вот она, стой!
Жизнь святая, цветы
в грязной, в нежной работе,
в чистом поте, в пути,
в темном опыте плоти,
в самом смертном полете
умирай, но цветы!

4.

В куче листьев чернея, краснея,
занимается темный огонь,
и ползет ароматная вонь
по какой-то фанерной аллее.
На щитах — не портрет Лорелеи,
но убитые дети двух войн.
А живые — зверюшками — вой
затевают, и лая, и бляя...
И в режиме расчетливом тленья
зимовать мы решились с тобой.

5.

Ты не забыла о дворцовой церкви,
где, отсвет люстры взяв за образец,
по изразцу скользнув, к царям, бывало,
входил нарядный Бог?

А помнишь ли фарфоровые лары,
которые в плену жеманных поз,
казалось, хрупкую предпочитали смерть

застывшей глуповатости секунд
остановившихся? Их позы — помнишь?

А мраморную бабочку в ладони
и белизну врачующихся душ,
и ангельское их предцелованье?

Еще бы... Как забыть! Ушло мгновенье,
а нам уже за ним не промелькнуть.

И этот львенок с гобелена —
случайности свидетель долговечный,
и тот наружной лепки херувим —
непреходящий соучастник мига.

Львиноголовая царица,
Сын человеческий в кровавом крапе,
распятый в глянцево́м ночном окне.
Ты видишь, как опасно быть вдвоем!

б.

Научившись кой-чему из книг,
обуздаем миг хотя б на миг.

Хочешь на четыре такта, как, —
по-пейзански стрижен, бронзов, наг,
вечен, — гренадер сдержал коня...

Или так — смотри скорей в меня...

Вот еще средь конных игр игра:
об руку рука, мотор и вьюга,
и с кавалерийского горба...

Миг... Прыжок сердечный... Крик испуга.

7.

Обломки льда лежат на льду же,
и полынья дымит от стужи,
становится все уже, уже
черно-прозрачная вода...

Что было тут?
Когда так целостность раздрана,
в пространстве временная рана
горит —
не утонул ли тут жених Авроры?

Пока невеста горевала,
состарилась и умерла, —
раз полтора оледеневала
река, — он, видно, не спешил судьбой
и дотянул до наших вот времен...

Форель ему навстречь стучала,
но чудо завершил другой поэт:
в созвездьи Рыб —
которая твоя форель играет?
Прозрачно-черная вода

становится все уже, уже,
и полынья дымит от стужи...
Обломки льда лежат на льду же,
и нерушимы души,
и неподвижны бывшие года.

8.

Тебе, королева мгновений,
купаний, касаний, красот роковых королева,

ВОЛНЫ

В. Ф.

1.

Кто живущий у волн не знавал,
как идет приобщение вещи
к ритму? Как начинается вал?
Вот порыв, и пролёт, и провал...
Сам окрестит, и тут же раскрещет.
Сколько раз он пловца принимал
в эти нежно-могучие клещи!

2.

Пока волна не вышла на разрыв,
она тверда.
Но раздвоив себя, распятерив,
разбрызжется вода.
И гладкий перелив
обрушится, в щебенку навсегда
себя зарыв.

3.

Темных, древних движений полна,
то ли слева накатит облава,
то ли — дикою влагою — справа!
Время с временем сплавит она,
и навеки срастаясь двуглаво,
и на миг мне ломая суставы,
и отхлынет, в себя влюблена.

4.

Порядок не откроет совершенства.
Но в истовой ритмической работе
родится нас рождающее женство.
Пускай порыв морской свободной плоти
в одном дыханьи с волнами на взлёте
роит соблазн доступного блаженства...
Зато какую песню вы споете!

5.

Гляди: гнездо воды надежное разрыто,
размётан по миру бадьи, пруда уют,
и сказочки дырявое корыто
в корабль, того гляди, перепоят, скуют
и выпихнут валы на свет мастеровито.
В волнах полно ячеистых кают,
в них плаванье для нас без берегов раскрыто.

6.

Косо крест
помечен в небесах.
Камни — с мест,
и — страх морских невест —
волны — в прах...
Рокочет на басах
чистый Вест.

7.

Перепоясан лимбами долгот
и выверен кругами астролябий,

у моряка целенаправлен ход.
Хотя б для нас разверзлись те же хляби,
иная склонность нас к волнам зовёт:
в кромешной и качающейся ряби,
бывает, некий очерк промелькнет.

8.

Сначала по кругу походит...
Ещё не совсем рождена,
а — прочь из пространства — по хорде
и вбок убегает длина.
И — круто от самого дна,
из голых аорт — и на холод...
И — жгучая — чем не волна?

9.

Дивно, страшно вскинута нога,
разом здесь агония и роды,
радужная пенится дуга, —
бой с самой собой идет природы.
Жду: он обезводит берега,
либо напрочь обезбрежит воды.
Но дорога к этому долга.

10.

Лазурные кристаллы зла
и розовые пятна благодати
подкрашивают рыхлые тела,
подобные разобранной кровати,
по ярусам прохлады и тепла.
И синева кроваво разнесла
свои покровы на закате.

11.

От будущего в прошлое — смотри-ка:
изрыт сквозными арками излёт
до беспредельности раздвинутого мига.
Архитектура беглая растёт
от прошлого до будущего сдвига.
А миг уже разрушен и растёрт.
И лишь волна волне равновелика.

12.

Глянет нагими свободами
на справедливость любовных долей
между греками узкобородами...
Грянет своими же родами
над современным кочевьем полей
пенных, и — в пену скорей! —
рухнет глубинными сводами.

13.

И гибели страшась, и с гибелью играя,
все годы краткие — в один безбрежный миг...
Нса эти ритмы волн, душа береговая,
свой пульс переложил прилежный ученик.
Пусть кровь его теперь летит, как Божья стая,
кроятся бездны в ней, края свои смыкая,
в зыбях забыв себя, себя же он постиг.

14.

Чем полнее волна заберет,
разнимая на слабые части,

растворяя, тем наоборот
хочет битва сильнее начаться.
Тщетно счастье, и вот оно — счастье:
победителем павший встает
каждый миг в этот миг возвращаться.

15.

Не ведаёт волна своих глубин —
её волнует то, что тонко взбито
из полу-слов, из полу-половин...
Красот овалами, обвалами лавин
расколебались тонны монолита;
волной к волне слагается молитва,
где слог божествен, смысл — неуловим.

16.

Можно уловить любовный очерк
в переливах женственного зверя,
можно и себя скормить на клочья,
и, чтоб к сердцу путь прошел короче, —
бешеным здоровьем здравее,
становиться поприщем для корчей
творческого темного неверья.

17.

Волна то вспыхнет тускло-голубым,
то завернется в неприступный глянец,
а то зальётся медью из глубин
и вдруг осмысленно и дико взглянет:
— Готовься, ты угадан и любим!
В груди живой дробятся те же грани,
и празднует соборность нелюдим.

18.

Ты ли, как было глаголено,
в гладкой броне наготы
будешь нам явлена голая,
или же, медью для олова,
суть отделённая, ты,
на золотые лады
бронзою вправишься в головы?

19.

Создатель новизны любого дня
и Устроитель вековечной тверди
велел: — По звёздам пульсы ваши сверьте!
Сердца разделены спектрами огня,
но муками единого предсердья
сотворена творящая меня
моими же порывами усердья.

20.

Ведома двойная глубина
для любовно-пристального зренья;
зоркость в нем удвоена одна
и морского, и глазного дна;
общий взор возрос до озаренья,
и зарей раскрытая видна
тайна простодушного творенья.

*Таврическая улица
1970–1971*

ВСЯ В ПЯТНАХ

Не то, что мните вы, природа...

Тютчев

1. Начало

Сквозь облако в поляну луч
вонзился, щёкотно-колюч,
и мелким, пусть,
но жарким рвеньем
закопошился муравейник;
и задышала медленная грудь —
не ведомо — испугом или смехом.
Не зная, охнуть ей иль хохотнуть,
она исходит светом.

2. Пятно

Себя накапливает день,
гудит и лиловет тень,
гудят шмели,
и что-то шевелит листом,
и тихо веет от земли
большим теплом...

3. Взгляд

Запятнанный теплом и светом,
луг загудел тенистым,
зазвенел нагретым
медовым золотым пятном;
и навзничь в небеса срываясь, пчелы
летят, на миг увидев сверху дном
мир подгулявший в час его веселый,
и этот вид уносят густосёлы,
как взяток, в дом.

4. Воздушные пути

Тепло столбом уходит вверх,
съезжает под углом прохлада,
среди запахов дорога аромата
извилиста и как река поката,
прерывисто порханье мотылька.
И серебрится легкая мошка
и тучкою толчется серовато;
вверху плывет прохладная громада,
и взгляд скользит, и сам уходит вверх.

5. О прохладе

О чем она, когда так жарко?
Вот полдень вперевалку по полям
прошествовал, а в бороде солома...
Пробрался через лес, и дома,
и машет, приглашая: — залезай-ка...,
сюда...
Но где тут небо, где лужайка?
Цветы и пятна пополам
прохлады ищут от истома.
Со звездами цветы, видать, знакомы,
когда они — точь в точь — полночный план.

6. Посредине

Откуда-то из самых нижних недр
весь вымахав охажкою воздушной
и распушась, и воздухом надувшись,
в каком-то великанском простодушии
приваживает к небу стать свою,

поляну, лес и беличью семью,
пылающую на ветвях, как свечи.
И поминутно внутрь ныряют векши,
орешки достают из хвойных недр.
И замечает жаркою метелью
связавшего себя небесной целью,
и кажется рождественскою елью
многонесущий кедр.

7. Поляна ждет

Сбегая, мелкое зверье
легонько покогтит ее,
и даже, может быть, из них
один прижмется к ней на миг,
хотя бы и один из всех —
сердечко простучит сквозь мех,
и вся, счастливица, замрет...
Поляна ждет.

8. Земляные ходы

Земля нагрета, и семья маслят,
хоть червячками все они кишат,
по сути все же радостно-здорова.
И в почве бродит СЛОВО.
Но кто пророет словом этим рот?
Кто ж выразит, пусть косо и нелепо,
и сослепу, да правду, как не крот,
ушедший вглубь от голубых пустот,
что слово это — НЕБО?

9 . Перемена

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне...
Брюсов

Кучами земля чернеет...
А в траве по серым кучам
желтый луч навеселе
проскакал, упал и тлеет
на сиреновой земле.
Эти розовые кучи,
багровевшие лилово,
только что синели — снова
в темени уже чернеют.
Небо плавно вечереет.
И сплываются на дно
и тьма, и тишь — в одно.

10. Без конца

Звезда в потемках заблестала...
Укромное огромным стало,
и всей вселенной нехватало
поляну сонную вместить;
тогда небесная поляна
уже без умысла и плана
вниз головой пошла, как спяна,
вовсю соцветьями светить.

*Таврическая улица
декабрь 1965*

ЗВЁЗДЫ И ПОЛОСЫ

Посвящаются О. С.-Б.

1. Полоса озерная

От массивного синего
до совсем невесомого серого —
все тона водяной окоём
затопил переливную зеленью селезня.

Полоснул серебром через весь
пересвет с полуюга до севера,
с краю искру нанес,
распустил паруса посреди
неохватного зеркала-сверкала...
Средиземно раскинулся —
за океан —
Мичиган.

А бывает и розово озеро.

2. Тот свет...

...куда пути непоправимы.
Где то звезда, то снова полоса.
Грядущего нарядные руины,
лириодендроны, бурундуки, равнины...
И — галактические небеса.
И — механические херувимы.

И — ты. По вавилонам барахла,
живой, идёшь, хотя отпет и пропит,

свой поминальный хлеб распола, —
где палестинам снеди несть числа...
Делясь, ты половишишь вкус и опыт
по зарослям дерев Добра и Зла.

Да, ты — туда ж — с утопией великой,
с ужасною, как тот кровавый хлеб,
духовностью! Ты встречен будешь в пику
улыбкою тончайшей, поелику
здесь души не давались на зацеп
десятка двух «единственных религий».

И — каждая — для них за то не та,
что к счастью стыдному отнюдь не доступ.
(Единственность — язвима пята.)
Тоталитарна только пестрота,
и абсолютны сдобные удобства, —
в них даже грязь охранна и чиста.

Учись на всём.
И слушай содроганья
(бутылочная сыплется гора)
и рёв зеленоводного органа.
По небу письма над Ниагарой
цветут, опять УДОБСТВА предлагая...
Горит закат огромно и угарно.
Горячих красок хладная игра.
Тот свет. И мы живые, дорогая.

3. Звезда

Какая яркая — огня и льда слиянья,
И — силится внушить пульсирующий знак!

Я мог его понять, но только сам сияя,
сияя, — что давно и далеко не так.

А виделось: горит в селеньях занебесных
оконная свеча в покое, где ночлег.
Последний перегон, и мысль истает в безднах.
И всё же не совсем, — так верит человек.

Но ежели вблизи мерцания и света
на месте мировом откроется дыра
и слижет огонек, — примите весть, что это
кому-то на покой в той горнице пора.

Какая яркая, какая ледяная
и вечная... Хотя — вся вечность: до зари.
Мгновения мои в себе соединяя,
вот — и сорвется луч. Я говорю: — Гори!

4. Большое Яблоко

*Американцы прозвали Нью-Йорк
Большим Яблоком.*

Из ядущего вышло ядомое,
и из сильного вышло сладкое.
Кн. Судей 11–14

Рабство отхаркав, ору:
— Здравствуй, Манхаттн!
Дрын копчёный, внушительный батька Мохнатый,
принимай ко двору.
(Реет с нахрапом
яркий матрас на юру:
ночью — звёзд, и румяных полос ввечеру
он от пуза нахапал.)

Крепкий подножный утес
выпер наружу.
Нерушимую стать мускулисто напряжив,
будь на месте, как врос,
каменный друже.
Твой чернорёберный торс
встал на мусоре Мира в нешуточный рост.
То-то вымахал дюже.

Стоит, наверно, утрат:
Родины, дома, —
на громады великого града Содома
этот вид, этот взгляд.
Мозгоподобно
кодами окна горят.
Подсмотревшего тайну снедают подряд:
робость, похоть, стыдоба...

(Словно смакуешь во сне
свинскую сладость.
Да, порочен и слаб, и с собою не сладил, —
спелся только сильней.)
Слабый-неслабый,
а за себя не красней.
«Ты есть ты», — прямо с неба абзацам огней
вторят быстрые слайды.

Сожран, а всё же не мертв.
Жив, и немало...
А ядуший да будет ядóm до отвала!
Тот, кто примет, — поймет:
враз разорвало
льва-монолита вразмёт.
Вижу — рой в этом трупце, и соты, и мёд.
Сладким сильное стало.

В старые мехи вобрызнь
сочное соло;
залезай-ка туда же с возней поросёвой, —
в жадно-свежую грызнь.
Будь новоселом
и зарифмуй с парой джинс:

— Жри-ка яблоко по черенок, это — жизнь,
червячок ты веселый!

5. Индейское море

Хорошая земля. И навсегда — чужая.
Хорошая вода: огромная, у ног.
Укоренить бы в ней, деревьям подражая,
широкошумных дней хотя бы черенок.

А для того — унять внезапное мгновенье:
в нём настоящее. Былого ты лишен.
Ни страхом, и ничем привычным не навеян,
лишь валится в Ничто пустопорожний сон.

Я точно говорю:

— Мы — то, что наша память.

И если от «сейчас» отсечено «вчера»,
во лбу меж половин врубается тупая
не боль, наоборот, — морозцем топора.

И знаю: новизна всегда дориносима,
но дерево символов при этом пало ниц.
И — нет внутри стволов дриад, — лишь древесина;
не лиры на ветвях, — от силы гнёзда птиц.

Зато в какой чести вчерашние закаты!
Заметы памяти, захлёбы напролёт:

— А помнишь год назад, такого-то, тогда-то, —
в серебряной воде зеленоватый лёд?

И если б удалось по срезу — сразу, сходу
болезненно пустить прозрачный корешок
в стакане озера, в пузырчатую воду!
Тогда: и на земле, и в землю — хорошо.

6. У пожирателей лотоса

Пясть Америки,
крепость её костяка:
воронные утёсы Нью-Йорка,
серые грани Нью-Джерзи,
Пенсильвании жёлтые груды,
мраморы в падах Вермонта,
Массачусетса бурый гранит.

Десть открыта для дела,
а сердцу врасплох
как не ёкнуть,
представляя кулак
и массивную биту:
удар! —
и Урал
перебит.

Нет, совсем не затем! —
где конечные вмятины
и отпечатки —
хватать! — за край континента
скалистая левая
противоперсть;

шуйца в рыжей
бейсбольной
перчатке

крепит вместе,
сжимая надёжно борта,
со десницею,
равнодержавная,
— есть!

Обе длани воздели
материковый котёл;
в нем живая земля шевелится:
кувыркаются куры в обёртках,
лотосы,
пучится кукуруза.
Плавно варится взвесь, —
деньги вскипают листвою,
и сплавляются лица
в пестрое сверх-лицо,
в надглагольную весть,

изъяснимую
на подводном наречьи,
столь же скользко-ледовом,
сколь подвижном, как видишь...
Так смешно говорить,
но тонически пойте, языки,
ваш новый язык.

Хорошо, что не Бритиш:
тот всегда
с недовольным подсосом,
с обиженным даже сюсюком,
в котором обмяк и обвык...

Но иначе рекут
все вкусившие лотоса
тайно-сытную сладость:
 в круговую поруку вступая,
 расстаются как с памятью,
 так и с тоской.

Наслоенья обид
под наплывом труда
и комфорта
изглядясь,
 вместе с опытом страха
 слезают с хребта,
 словно толстая корь.

Вот и черпай от пуза
и ты, лотофаг,
этот кладезь
 жизни,
 просто жизни
 спокойно-хорошей,
 людской.

7. Лесная полуполоса

Надо же, есть же такие места,
где и животным живётся спроста.

Белочке — рай, коль не схватит енот:
с груш и орехов довольно щедрот.

Птичий почти: полусвист, полущелк
выпустив, спрятался бурундучок.

Сколько ж тут, сладких для лис, барышей:
скользких лягушек и вкусных мышей!

Знаю: запасец, запрятанный впрок,
есть у особенных синих сорок.

Что же до нас, что тут бродят вдвоем, —
как-нибудь эдак и мы проживем.

8. Полнота всего

Вечерние чужие города,
сравнимые с пульсирующим мозгом,
который вскрыт без боли и стыда
(а кровь размыта в зареве заморском), —
внушают глазу выморгнуть туда

в горячий мрак вглядевшуюся душу.
А та и рада сгинуть в новизне,
сбежать во тьму, себя саму задувши,
повыплести всю внутреннюю — вне,
по завиткам и выгибам воздушным.

А если и светить, то лишь едва, —
летучей, эфемерной порошиной.
И — числить этажи, сиречь — слова,
не «богом из машины», а машиной,
сказуемой из глотки божества,

где, знаками осмысленно блистая
(сим электронным мега-языком),
горит надчеловеческая тайна,
с которой ты дикарски незнаком,
но силишься вписаться в начертанья.

И странно — чем вольнее мысль о ней,
чем больше от нее отнумерован,
тем сущность домышляется полней —
и кем? — тобою, трепетным нейроном
с обрубленной мутовкою корней.

Здесь мига не отложено до завтра...
От первых нужд, чем живо существо,
до жгучего порока и азарта, —
КРОМЕШНАЯ ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВСЕГО
из черепа торчит у Градозавра.

Буквально самого себя прияв,
каков ты есть, ты по такой идее
неслыханно, неоспоримо прав,
из низких и нежнейших наслаждений
наслаивая опыт или сплав.

Вот потому-то, жизнью вусмерть пьяный,
в разгаре неувиденного дня
прошу: да не оплакивайте в яме
Мафусаила юного, меня,
исполненного звуками и днями.

9. Милые Оки

Нечто большое держать надо мужу под боком:
бабу, добычу, судьбу...
Брег океанский попать,
 либо гору снести на горбу!
Иль по Великим Озерам подплыть к Милуокам.

Тут и у ока — для колбочек донных — улов:
чёрные дыры в лазури...

К ним, леденцовые, льстятся
зелёные волны-лизуньи;
лёд на просвет полурозов и полулилов.

Кто паруса расписал — свинари ли, свинарки?,
(визг поросячий для глаз), —
краской свирепой и флажной,
для влажной прохлады, как раз:
синий со звёздами грот, полосатый спинакер.

Да не осудят регату Дюфи и Вламинк!
У цветowych какофоний,
у белосытых берез
и ковровых газонов на фоне:
торты азалий и клювы магнолий-фламинг.

Да, ничего Мичиган, моложавое море,
давняя встреча вождей —
тоже, впрочем, пернатых...
Здесь даже размеры стрижей
вшестеро пуще. И всё тут в ажуре, в мажоре.

Есть и куда заглядеться — в каурый накал,
в истинно Милые Оки,
чуть виноватые — мол,
далеко мы, но не одиноки...
Я их неблизко, зато как надёжно сыскал!

10. Полоса пустая

А бывает и озера — нет.
Ни воды — ничего.
Кромка берега — край ойкумены.
Ни-ко-го.

Лишь по важенке стонет ревун одиноко.
Отнюдь не маяк — гамаюн.

Сухогрузку зовёт, изнывая...
И — ни красок, ни слов.
Тени — в нетях. А небо? И — дно? —
Не видны.

Только стонет ревун.
Никуда ниоткуда не деться.
А индейское море ушло.
Ныне — там, где пернато-разлапые,
с томагавками, души,

тянет ноту ревун,
алконост ластоногий, несносно.

Где мы, что мы?
Да что там,
куда там —
туман.

Милуоки, Висконсин 1980–83

ЖИЗНЬ УРБААНСКАЯ

1.

Приезжай! Здесь, представляешь: небо,
где шаров и баллонов — что облаков, —
напавлинено к Пасхе. Да и — треба
потрепаться о жизни, где я таков.

О незванкой. Не потому, что «не звали».
 (Звало всё: даже сам запрет,
 и сезамы, и сальвадоры дали...)
Но потому, что Званки-то нет.

А есть — иное. И надо: из —
 (маленькая, как прививка, смерть),
и — по-аглицки... А ты не бойсь.
Живым, и — на Тот Свет!

И: за-; и в-, словно глаз под веко, —
 на прогулку гулкую за кордон.
Америка — это библиотека.
Два берега. И — мой дом.

Где мимолётом гоняют кроссы
 полуголые ангелы, и: гули-гули
о том, как фиалки да крокусы
 листки порасстегнули.

Посреди кукурузного океана,
 в середине Мира, где пуп, —
 графство Шампанское (да, так!); Урбана;
и, — сердцем ткнутое: тут.

Тут. Потому что досюда — дойдено.
 И — в тутошнее вбычилась осьь.
А если Воля — не там, где Родина, —
 так даже бабы, и то: не нашлось...

Да простят меня любо-люды и милы,
 я ведь верил вам: ваво- и юле-веры,
 и вы были со мною милы (в июле).
Но встречной, увы, я не увидел веры...

Вот «про это» я тебе и толкую:
— Женя, найдешь крутопопую
пуэрториканскую эдакую, такую, —
вдову протопопову...

И — в Минехаху, а то — в Кикапу,
в Пивуоки, в Чатанугу с Чучею,
на чувачную — ту, что по броду — тропу:
по раста-барам тебя попотчую...

А в полночь — банальней, чем Травиата, —
у поэта (за это!) попросят автограф
только на чек... Да, в тридевятом:
кто с шампанским, тот граф!

Но. Если Москва бьет с носка
(для тебя это отнюдь не эврика),
не расслабляйся и здесь пока,
ибо — мордой об стол — Америка.

2.

Осеняемый клёном и ясенем,
он стоит, небольшенький, да мой,
что моим рас-шампанским сиятельством
называется: «дома», «домой»...

Дом... Не даден двубортнейшим дядею,
а: недвижимо-собственный, свой.
Он и в Званку тебе, и в Аркадию
обращён и сядой, и тудом.

Да, и труд, а и жоржики-денежки,
и должки, да какие (ништяк!),

без которых не дёрнешься-денешься...
Я — так точно. И тост натошак

так и просится по Северянину:
в луны — выдави солнечный джус!
Веком заживо посеребряемый,
ничего — моложавлюсь, гожусь.

Да и сколько бы лет ни урезано:
только с тысячью — вместе на слом!..
Жизнь такая интекуресная, —
люб любой: или день, или дом.

Урожаями грузно-беременна,
с полумельком японских тойот,
здесь кругом кукурузная прерия:
— То ль не любо, товарищ койот?..

Иллинойщина — вот она, вотчина,
край початочный, как при Хруще...
Наша с Лялей: Урбаногородчина,
рай шалашный — и так! вообще.

В смысле: в этом смесительном таборе
всё овамо и тамо, — путём...
И кибитка моя — комфортабельна.
Средний Запад. И я тут при том.

В купах гинкго и вкупе с секвойями
до чего же мне нравится свист
кардинала за мягкими хвоями:
преподобен, а как голосист!

Попахав это поле страничное,
хорошо: деньги вкладывать в рост;

стричь лужайку, где смотрит придиричиво,
как в мундире инспекторском, дрозд.

И зверью тут — лафа, жированьице;
всякой твари — по паре, всем — дом.
(Братец кролик, а прав добивается:
забастовками, что ли, Судом?..)

Хорошо: колесить, куда хочется,
словно геммы, глядеть города
(кроме бывшего хмурого Отчества)...
Погулял, и — до дому. Сюда.

3.

А если Вену, Рим, Берлин или Париж
ты сходу про: фу-фу в воздушном перемахе,
то это место — здесь, где оду ты родишь, —
американский супермаркет.

Что да, то да: дают... Дрозда, и вообще!
Вот это — торжище, до горизонта — снеди:
Хеопсы разных блюд, Кавказы овощей
под блюз, и в мыслях об обеде.

Обрызган пырьсю льда, курчавится латук;
пучками рдятся бело-пыпочки редиски;
темнозелено-жгуч, и злющ, и связан: лук...
Не оду — ты, а сам: родился...

В мороз, а и в жару всегда прохладнопуз,
то — оклубничен, то — в картечинах черники,
с пупами-дынями здесь бабится арбуз.
Ему и козыри — не пики.

Не вини-kozyри, но кстати о вине...
Всё серебро в Шабли, а золотишко — в Рейне:
калифорнийская лоза, она вполне...
Сама ползет в стихотворенье.

Как с нею хороши: креветок нежный хрящ
и жирных устриц слизь, что спрыснута лимоном;
с кедровым ядрышком форель: поджар хрустящ,
а мякоть — с розовым изломом.

Там пальмовы сердца секутся на куски:
где спаржи пук — Шекспир, а Пруст — ростки фасоли;
и Джойсом артишок: то иглит лепестки,
то с маринадом расфасован.

Вот лазает в воде чудовищный омар,
а skinут с кипятка, зане прекрасен витязь,
что — красен, и в броне. Крушите, стар и мал,
с топлёным маслом насладитесь!

Вон кружка: бок в росе и пена набекрень, —
отрадно-горек Пабст, и Огсбургер, и Пильзень,
Колбасный арсенал, ветчинный потетень!
Копчёных дрынов полный список...

Но если угощать — тогда в два пальца стейк,
и — пять минут на сторону — на гриле...
Прости мой англицизм, — я точно не из тех,
кто б волапюком говорили.

А просто слов таких «в забавном слогe» — нет.
По-русски ли сказать: «бифштекс» и «на мангале»?
И прыщет сок мясной, когда мы с Каберне,
а то — с Бургундским налегаем.

Жизнь в общем удалась. Плесни на дно коньяк,
давай расслабимся... Теперь стихи попросим
друг друга почитать. — Полцарства за коня,
за папиросу б! Да курить я — бросил.

4.

Кто отхватил сии: и земли, и стада?
Аэропорт, отель, театр — кто заграбастал?
Кому принадлежат сады: туда-сюда?..
Ты прав: маркизу Карабасу.

Ему: и даже тот за дальним полем лес...
Его — издательства, и зданья, и газета;
его и ловкий кот, что в сапоги залез:
маркиза Университета!

И даже я, его с проплешиной вассал,
взял греческое «Пси» и жестом «Тэту» кинул,
Орфеем эдаким, и оду возбрыцал,
урбанистическим акыном...

Что вижу, то пою: зрю — Университет, —
луг — и студентами вокруг запестревший кампус.
Кто — с голубым пером, кто в тоге, кто и нет:
афро-корее-инде-канцы...

Чему учен, учу: с двенадцатью моих
я под пятнистым и развесистым платаном
витийствую вовсю. И вместе русский стих
мы расплетаем-заплетаем.

Не чудо ль, что среди венеро-марсиан
«Соседа Котова» сужу я по науке:
виршеслагателя, цензуры — где изъян?
В России бы не зрели буки.

И вот — двенадцать! Бьет раскатистый курант.
Ланч-переланч. По мне — обед книго-червячный.
Пустеют поприща... А я тому и рад,
что труд и ячневый и вящий.

Библи-отеческий, иначе говоря.
Читаю здешние, и ваши альманашки,
где тужится поэт, лирически буря
бурят. Но хороши и наши...

Нет, хуже. Потому: рабы наоборот
(зачем уехали?) оттискивают в книжки
все фобии, что в них копились наперед,
сперва награвшись на костришке.

Им и Америка — страна зубных врачей,
а о родной дыре — лишь в терминах анальных...
Захлопни альманах. Заглохни, книгочей...
Осталось две строфы финальных.

О чём бы в них? Как льдом позваниваю? Иль
по фене аглицкой гуторю на приёмах?
Как под хмельком домой веду автомобиль?
Да тут и всяк — не промах.

А вот о чём: домой. Где спит лобастый карл
с настольной мудростью компьютерного рода,
с просторной ряшкой — электронный аксакал.
Нажмёшь куда-то, и — вот эта ода.

Урбана, 1986

ОДА ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ

*Когда огромный вздох слетает сверху,
тот звук не застаёт меня врасплох, —
душе уже не жаль за жизнь-помеху...
Но то — не ангел дышит и не Бог.*

1.

То — над листвою орехов и платанов,
Поверх читален, спален-дормитор,
и яр, и сюр, голубизну глотая,
плывёт — на четверть неба помидор.

С куста ль сорвался, вдув охапкой воздух,
пузатый — так, что даже слышен хруст,
и хвост зелёный не забыв по сходству
с пунцовым овощем? Каков же куст?

Таков и плод! Под выхлопы пропана
заставил запрокинуться наверх:
пусть не сердца — глаза, — а не пропала
попытка оребячить вся и всех.

Не надо ни рубить, ни мять в турбине,
ни скорости крылить и оперять —
громадно и прозрачно теребимый,
лети, лети, пузырь и аппарат.

Суть — сбоку, где написано «*Garsia*».
Реклама! Но возьми себе на ум:
Коммерция — рискована и красива,
и сам парит в корзине толстосум.

На то и помидор, что это — пицца
с томатной пастой, сыром, колбасой
мечтает с кошельком совокупиться,
рты опалив счастливым — собой.

Пожар земных страстей залить бы пивом
прохладным, и, воздушное, не ты ль
непешно приближаешься?

2.

Нет, с пылу
Не ты я ждал гигантскую бутылку.

Бурбона «Дни былые» мы не станем
ни пробовать, как ни заманчив он,
ни воспевать, поскольку смыслом тайным
(всё тем же!) слишком густо напоён.

Что было в дни былые — подвиг, дерзость,
а после стало прахом, — вдруг и враз
вплывает ярким яблоком из детства...
Но только — как пародия и фарс.

3.

Как это облачко, что с небосклону
не слазит, брюхом пучится из брюк,
вздувается... И вдруг — печальный клоун:
слеза под глазом, красный нос разбрюк.

Коко, да это ты ли, плут? Откуда —
цирк прогорел! — каких помоек из?
Обидели фагота-баламута,
и вот летит, пофукивая вниз.

4.

Но, если звук фанфарный выдуть зримым,
то здесь он — оком по небу пошарь,
и — куполом сверкнёт в глаза разиням
тугой, продолговатый к низу шар.

И цвет его — слепой во тьме увидит!

5.

А вот веретеном раздутый гол,
забитый Галиафу в лоб Давидом
оранжевым по синему: футбол.

6.

А этот — без примет, и — в чёрном, некто,
не призрак ли? Его уже, боюсь,
в потёмках у секретного объекта
однажды застрелила Беларусь.

Теперь он здесь! А щёлкну объективом:
проявится ль? И если он исчез,
то значит, был-не-был, но стал фиктивен:
одно из неопознанных существ,
подмога нашим «Ангелам и силам»!

7.

Да всё тут — сверхъестественная явь:
и даже возбуждённо вздетый символ, —
летит сосиска, в булочке застряв.

Народен этот образ и эпичен
О чём он мыслит, по небу ходок?
О пиве, спорте, сексе и о пище, —
все воплощает радости *hot dog*.

8.

Все слуги королевские подмогой
упавшему, но — кверху! — со стены;
взлетая, перевёрнут гоголь-моголь,
и только пятки в воздухе видны.

9–96.

О, нет не только! Формы, краски, пятна:
то в арлекинных ромбах, то в спираль
закрученно, то веером — обратно,
то, заглянув с павлиньего пера,

до дна души в тебя проникнет око...
И ты смотреть умеешь зеницей птиц:
глядишь на окоём легко-высоко,
и тяжести земные никнут ниц.

97–102.

Фазан-петух летит, горя как феникс.
Орёл, паря, становится горой,
в чьей глубине просвечивает оникс.
Не странно ли над прерией порой?

— Не страшно ли, наездник аппарата?
Ему (иль — ей!) нужна не только прыть:
спуститься, марку сбросить в цель куда-то,
найти струю и снова воспарить.

Летят планеты, инопланетяне...

103.

Кто — эта? В ней всё ладно, всё с руки.

Туда зачем-то сердце так и тянет...

На выпуклых морях — материки:

Америки фигуристые стати.

Австралия-коала смотрит вниз,

Европы виноградный лист (а, кстати,

и Африки с неё свисает кисть).

Левиафаном — Азия с Ионой,

бурчащим в животе её... Маня

спускается, но лишь на миг, и — вон он,

уносит чей-то вопль: — Возьми меня!

Шампейн, Иллинойс, сент. 1998

ОБЛИКИ

1.

Блеснёт высокоскулая раскосо

и — в узости замкнёт меня, темна...

Где, зренье поощряя, хрящик носа

отбросит полутень в полутона

под чёлкой вороной. А с губ, а с лоска,

со, словно месяц, маленького рта —

гляди: взлетает жёлто-злая оска, —

ужалит враз! А ты-то: та — не — та...

2.

А эта вот: не тоже ли оттуда?

Раздваивая образ-абрикос,

я облики рисую, 2 сосуда

так, чтобы светом таял алебастр.

Получится ли? Потому что — гибка
и хрупка с полусолнцем за ушком,
сама — цветок, улыбка и голубка,
по ноздри в злате, ходит босиком.

И то: могла бы плыть, лететь!.. На лире
могла бы мглу: бряцаньем — разменять.
А так — серебро-зелёное колибри
высасывает сердце из меня.

3; 4

А смуглая, она (оно), — иное:
в межбровии — навывлет — лепесток...
Сквозь лоб я вижу мозг. И вот что внове:
ещё не Запад, ни уже Восток,

но — вместе; и причудливую вазу
невидимо на голове несёт
и радужно, и затенённо сразу...
И — прыщут пятна красок и красот.

И — юнь юнейшая; а я на убыль,
её июля чтец и лицегляд, —
и нет, и да: я ей не для прелюбы...
Для: образ от безлюбья исцелять.

5.

Те облики легки — кто: вечер,
кто: полумесяц... Лишь вот этот: ночь.
И девий, да, но и не человеческий
(звериный, что ль?) разрез ленивых оч.

Её весь абрис выписан иначе,
хотя Прообраз — и един, и общ!

Ей, словно: целый мир ещё не начат;
вся — лишь о ней — творительная мощь...

6.

Куда тебе, гляделец лиц!.. Младое
навстречу смотрит: из, и сквозь, и чрез
сиреневых, как у Лилит, ладоней
и этих ярких, медленных очес.

7.

Взгляд отводя, очнёшься: от чего же?
Свидания, не так ли? Только где?
— В зрачках, конечно, воткнутых до дрожи,
на миг, на переморг ресниц, — нигде...

8; 9.

И — вновь уловлен... Чем? Поводкой брови ль,
миндальных, стоп; (скорей, — маслинных) глаз?
Но прям не по медалям этот профиль —
по выгибам краснофигурных ваз.

И — правильно, и хорошо, что склонна,
и вовсе не к чему-либо, а от-,
а из — античных мраморов — и в лоно
сиюминутности, мгновеньями живёт.

Капризничает... Загляденье, чудо:
запястий тонких, сильных плеч и рук...
Что этот знак? Приязнь? — Да не хочу я:
там зренью делать нечего; каюк.

Там сердце: тут как тут, — и вспых контакта,
смеженье глаз, приоткрыванье губ,
касания тактильное стаккато...
— А вот и нет! Я — буду: взглядолюб.

10.

Как ни хмелён тяжёлый винный улей,
не там, не тем утешен водохлёб,
но — лепоте, лепнине всех июлей
предпочитая взгляд. И — лоб, и лёд!

И — весь прохладный лад: льняные дали
её, ея, которую я зрю, —
на выморг ока только, навсегда ли, —
такую не зазорно, как зарю

вос-созерцать! Но пристальные зёрна
несносны ей... Ей-ей, наперерез
рванётся, передёрнется озёрно,
и севером обдаст мой интерес.

11.

А: вот какой закончу (ну же, ну же!) —
вся — лёгкая, но жилами крепка.
Как полдень — рыж, так солнечно веснуща
(что с розой, что — с оружием) рука.

Такая встретит прямо всё прямое:
взор, вызов. Если вынес — берегись.
С вот этой и в степи тебе — приморье;
при жизни — чёт и нечет. Парадиз.

12.

И только с ней благославенна узость,
и — самый низ души — пошедший ввысь.
На полчаса хотя б, замолкни, Муза!
На пол-сейчас, пожалуйста, уймись.

Урбана, ноябрь 1986

ТЫКВЕННАЯ КОМЕДИЯ

Гале Руби, постановщице

Давай-ка разыграем осень...

Это ж вовсе

недолго будет в жёлтых листьях длиться,

и в красных ягодах, и бурых ягодицах,

и фиолетовых носсах.

Я их комедию пупырчато писах.

И вот что выткалось из букв:

актёры — тыквы.

Подмостками — плетёная тарель.

— Туда, брюхатые, разбрюкшие, скорей!

Раздайся, занавес, и вширь, и вбок,

взвивайся вверх.

Взамен пролога — некролог.

Кувырк.

Прощай-ка, век!

И — здравствуй, вот уже и третье,

пока мы говорим о нем,

тысячелетье,

влезаящее к нам, слоновое, углом...

...Черно-сияющим роялем исполинским...

Ударим же по клавишам-годам.

Я ни секунды, ни пылинки

несыгранной, молчанью не отдам!

Кривляйтесь бородавчато, паяцы.

Вот — пьязца.

А на ней — палаццо.

Там поселился полосатый дож.

И что ж?

При нем — три вёрткие девицы.

Как водится: блондинка
 беж и неж;
 брюнетка писк и визг;
и рыженькая: вся — ресницы.
Страшны! Однако — бешеный успех
 у кавалеров двух,
 а стало быть, у всех.

Один с прямым
 (другой — из-за угла)
 и вытянутым тыком.

Тык — это то, что нужно тыквам.
 (Она ломалась; хныкала; дала.)

При девах евнух пучится бесстрастно.
В комедию он пущен для контраста,
для пошлости,
 острастки и острот:
 про ТО и ЭТО,
при толстых обстоятельствах сюжета.
 Коварный кавалер
уже к блондинке вхож.

Сам — как бы с рыженькой,
а та — его сестрица! Он ей — братец.
(Двоюродная, если разобраться.)
На простака — навет.
 Его ревнует дож:
в конверт подложен локон белокурый.
Простец уже не стоит куры —
 попал впросак.
 И евнух точит нож.

Подпорчены и чести, и фигуры.
И казнь объявлена на плаце
 у палаццо.

А недотыковка
 (подгнил бочок, смотри!)

чужого — для себя — спасает ухажёра.
И вместо казни — свадьбы, целых три
устраивает скоро-споро...

— А быть счастливой в браке даже низко!

И дож

он тож

на евнухе чуть не женился.

Рояль! Звук ледяной рокошет смерть

от кромки времени до края

комедии, — как вяще умереть,

чтоб оказаться в кущах Рая?

Ответ: — Играя!

*Шампейн, Иллинойс,
декабрь 2000*

ДВА БЕЛЫХ ПИОНА

(тетраптих)

1.

Она мне была нужна,
я тоже ей, для того же,
так как желала меня, нежна,
в жарких крапинах её кожа,
что хотел я трогать и обонять,
касясь губами, глядя ладонью,
обожая каждую пядь,
нежа ее и вдоль, и вспять
ложбиною молодою.

Жаль, но её приходилось красть
(а небылицы внушались мужу),

чтобы нам отведать вдвоём и всласть
эту охоту, ловитву, страсть,
что цвела из неё наружу.

Я осуждал себя: плохо, грех...
Какой бы случай меня переделал?
А у самого на глазах у всех
счастье зашкаливало за пределы.

Но не о себе я. И, значит, не
о нежности нестерпимой, —
я о том, что роилось вокруг неё, вне,
неверной, нервной, нетерпеливой.

Из неё выпрыгивала душа,
словно из сумочки вдруг поклажа,
я же — любовался, едва дыша,
капризулей, цацей, да злюкой даже,
как она на публике хороша,
в на отпад наряде и макияже:
всех и вся закручивая на винте,
поправляя и поправляя пряди...

Тем, что: то ли я у неё, то ли те
на примете, что сзади?

Бесполезно было тут ревновать, —
ведь она заведомо не моя же:
мужнина, например? Наверяд...
Пеной выплеснутая из моря,
может быть, одна из наяд на пляже.

Или же из лазури блаженный жар
небожители на меня излили, —

я удачу таил и длил, и длил и
душу — её — держал, как шар,
куст густой сирени, охапку лилий.

Пока объятия не разжал...

2.

Те желанья, словно Арктуры, Веги,
казались несбыточно далеки.
Но вот недотрога смежала веки,
а я заставлял её глядеть в зрачки.

И по обе стороны от астрала
душа на душу могла взглянуть:
как два лемура. При этом странно
крапивило шею у ней и грудь.

Кто б нас увидел, как было бы стыдно!
Но ведали мы да, пожалуй, лишь
те лемуры. Только никто не выдал.
И опять, душенька, ты кровь молодишь.

3.

В облике этом известная сила
светит жемчужиной на киловатт;
ноздёрки вздёрнуты слишком спесиво,
лоб не по мыслям её крутоват.

Всё ж на красиво закинутой вые —
родинка — чёрный застыл поцелуй;
ниже, где жилы её становые,
гибкости меньше, — милуй, не милуй.

Лучше внимай у площадки покатоЙ,
как по расчёту двоится из тьмы
голос — от сдвинутой координаты
искренний, но — как бы взятый взаймы.

И узнавай задохнувшейся кожей
лепет единственный — тысячекрат
множимый в репликах пьесы расхожей.
Ты и его получал напрокат!

Видимо, в бледном экранном зияньи
ты и попался случайно на том,
что красотой засквозили изъяны
в зеркале — тоже, конечно, пустом.

4.

Два белых пиона
в стеклянном стакане
цветут исступлённо,
и капля по стенке стекает...

Что это — посланье
двусложного нежного слова,
что горькими дышит маслами, —
в сейчас из бывшего?

Посланье прохлады, покоя —
без слов, но такое, такое,
чтоб душу —

 вот так же, наружу,
в сии лепестки и сияния сада,
навстречу цветенью,
 за миг до распада,
к вот-вот и гниенью...

Ну, что бы помедлить мгновенью,
и облака свежие ломти
дарить, и не помнить,
другим, и, исчерпав,
их полнить.

Как обморок в полдень.

*Шампейн, Иллинойс
май 2006 г.*

**ЖИЗНЬ
КАДЕТА ЕВГЕНИЯ ГИРСА
(быль)**

1.

Рос на свете русский мальчик.
...Долго помнил он потом
белый пляж, курзал и мачты,
из ракушечника дом.

Дом, страна... И вдруг — руины,
мародёрский крик «Даёшь!»
По Руси, по Украине —
страх. И — гаже — тиф да вошь.

Комиссары, атаманы...
Как спастись от них? Куда?
И, внезапные в тумане,
встали серые суда.

Цвет — отнюдь не знак надежды,
а корабль — наоборот.

И, всё чистое надевши,
та семья идёт на борт.

(А с кормы всё мимо, мимо —
пли! — казак стрелял в коня,
плывшего за ним из Крыма...
Боже, так ли Ты — меня?)

Турки, греки, белги, сербы —
беглецам кто будет рад?
— Где бы так, чтоб как-то?.. Где бы,
чтоб куда-нибудь?.. — В Белград!

И стоят, томятся семьи
в канцеляриях с утра,
а на бебехи уселись
этот мальчик и сестра.

— Как сказать «Спасибо»? — «Хв́ала».
— Ничего себе язык...
— Тут чужбина. Ты как малый...
Видно, баловать привык!

...Взрослым, где хотя бы трое,
надо выпить. Чуть. Потом
надо очень много строить:
церковь, зал собраний, дом,

клуб, газету, — словом, образ,
что Россия стала тут.
Чтоб театр, кадетский корпус,
благородный институт...

2.

Как узнали кадеты,
кто помолвлен из них,
так дразнились, как дети:
— Тили-тесто, жених...
А потом порешили,
где мальчишник играть:
— Приглашай в «Три шешира»
всю несытую рать.

Институтки-«смолянки»
для одной из подруг
шили платье, смеялись...
Запечалились вдруг.

Сватов, право, не звать бы...
Если будет когда,
то не скорая свадьба.
Прежде грянет беда.

И большая — без края —
мировая война.
Сколько судеб, кромсая,
раскидает она.

3.

Умирай, кадет, не зря, —
«За Россию, за Царя!»
Ну, а если ни России...
— Строй ровней держи, разини!

...ни царя, то как же так?
— Есть у русских старый враг.

Помни, помни перед боем
о сестре с невестой, воин.

4.

А вóроны: карк, карк...
Надвинулся враг, враг.

Из пушечки: хлоп, хлоп, —
полкорпуса — в гроб, в гроб...

Молоденьких — в смерть, в тлен;
оставшихся — в плен, в плен...

5.

Кашей кормит — а не друг.
Бомбой метит — а не враг.
Светит солнца тусклый круг
в огороженный квадрат.

В середине — узники:
«наши» да союзники.

Без еды не проживёшь,
и откель её обресть?
«Наших» предал их же вождь,
не признавший Красный Крест.

Союзники кушают,
а «наши»-то скучные...

Но нашёлся без сереб...
От себя бы крал — да где?

Помогает «нашим» — «серб»,
то есть, русский же, кадет.

— Спасибо за корочку,
да на волю скоро уж...

6.

Не победа — свобода...
Не победа, но всё ж
долгожданная свадьба
и в «Шеширах» кутёж.

С «победившими» толки:
хвалят радостный труд
и рассветы на Волге.
«Выдь на Волгу!» — зовут.

Лишь один, оглянувшись:
«Там — пропасть задарма!
Вся Россия в минувшем;
то, что ныне — тюрьма».

Тут дома «обобщают»,
там — тюрьма. Где же путь?
и решают: с вещами —
в лагерь. Дальше уплыть.

7.

Нужно есть. Чертить и клеить.
Поднести. Убрать. Сложить.
Непрестанно и келейно,
и общинно — нужно жить.

Нужен дом. И клуб. И церковь.
Молоток и долото.
Только пальцы уж не цепки,
да и сердце-то не то.

В Новом Свете, после стольких
перетрясок — а живут:
в именинах и застольях...
И Россия стала тут.

Только ноги вот с отвычки...
И премного он устал
на кадетской перекличке
отмечать: и этот пал...

Пал, пал, пал — и тот, и этот.
Самому уже не встать.
Матерь Божья, дай кадету
со святыми почивать.

Смой следы последней боли,
на лицо его навей
шум небесного приборя
вечной памяти Твоей.

Шампейн, 1995

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ

Юрию Ивашку

1.

Ну, что с того, что пил?.. Зато как пел «Блаженства»!
Из плоти искресах конечны совершенства

и кроткия жены изрядно поучах...
Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени
восхитила его любви блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовья жены,
чем плохи мужнины кафтанец и штаны?

— Ах, светелко супруг, я — ты, я — ты, я телом —
лампадка масляна; тебя во мне затеплим.

— Ты это я, ты — я (и крестится скорей),
мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.

И молится (язык да не прильпе к гортани):
— Благословивая брак в Галилейской Кане!

— Простри же, Чудная, на этот брак — Покров...
Полковник баба — я, я — певчая Петров!

2.

И, нищелюбая, бредет она — раздавши,
да что имение?, саму себя и даже

горазнее того... — с просвиркой поутру,
и хвалит Господа за — в башмаке дыру.

Морозец искрится; свет позлащает резко
снег между кирпичей, меж бочек свинорецкой

и сяжской извести, меж хохотов и крикс...
Толпа и гвардия. «Виват, императрикс!»

И ангелы плетут золотые канители.

— Ах, не спугните их. Ах, вот и улетели!

Ухватки ихние лишь Ксении видны:

— Что, люди русские? Пеките-ка блины!

— Дак ведь не масленица. Да окстись ты, Ксения!
А тут Елисавет почила к Воскресенью...

За Ксенины блины, что знала наперед,
скорей, чем за любовь, любил ее народ

с поминок царских и —

3.

...И вдруг прошло два века.
Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека,
на «ладанки на грудь» растащен, а — стоит.
Не склеп — часовня. Нет, и не часовня — скит,
поскольку Божия не сякнет здесь работа!
«Святая Ксения, избави от аборта», —
наскрябана мольба. И дата — наши дни.
«Сдать на механика позволь». «Обороны»
Здесь — гривенник в щели. А там — пятиалтынный.
«от зла завистников...» «Дай преуспеть в латыни».
И — даты стертые. «Споспешествуй в пути...»
И — «Отведи навет...» И — «Виноват, прости!»
И — «Благодарствую». И — «Слава в вышних Богу».
Христовлаженную, хлопочущу о многу,
о теплой мелочи и о слезе людской,
ее бы помянуть саму за упокой,
горяще-таящую истово и яро...
Я помолился лишь «о нелишеньи дара».

NY, Qew Gardens
Август 1980

РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ

0.

Мала терцина. Смысл — наоборот.
Чем он крупнее (и — русей) — тем лучше.
На первой рифме гнешь дугою вход,

впрягая тезу — женское трезвучье.
За нею — ТРОЙКУ отзвуков мужских,
и — с тезой антитеза неразлучна.

Но, чтобы смастерился ёмкий стих,
пора готовить выход, как у Данта.
Есть девять строк. Всё высказано в них.

А на десятой — поворот: КУДА-ТО...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.

«Димитрий! Родину — и там любите!» —
с платформы выкрикнул один дурак.
Ответ зажало дверью при отбытии.

Какая гвоздеватая дыра
под этаким понятием разумелась?
— Из коей вышел, в кюю на-ура

уложат с побрякушкой за смелость?
Спасибо, нет. Клубок моих обид
снесу на незасиженное место —

распутывать, высвободать, любить.

2.

Да все — изгнанники, еще с Адама...
Кто Рай покинул, кто изжил Содом
в сознании. А мы так и подавно —

где нам похлебка варится, там — дом.
И все-таки живем и не плошаем,
и думается крепче о родном,

но не одним, как прежде, полушарьем.
Два опыта сомкнулись в полноте.
И, кажется, слова сейчас нашарим

вернейшие, насущнейшие, те...

3.

Во-первых, стыд. Лишь по тому резону,
КАК ОБОБРАЛИ НАС В РОДНОЙ ДЫРЕ!
Вкусноты разные — до горизонта,

черешня и арбузы в январе.
И больше, чем людей — автомобилей,
а воздух чист, что роза на заре.

Приветливые лица... Но — обидно:
ведь и у нас ТАКАЯ ЖЕ страна, —
с землей, с культурой... А живем — как быдло!

Всё — Партия? Да только ли она?

4.

Любезнейший, Вы — помните едва ли,
я — как вчера — столицу над Невой.
Довольство. Государыню на бале,

всю в белом, с бриллиантами рекой.
И государя на борту эсминца
«Сообразительный»... Нет — «Огневой»!

И вдовствующую императрицу...
И всей красы державной — торжество,
какое демократам и не снится, —

не правда ли, почтеннейший?.. — Чяво?!!

5.

«Мы Православье вывезли на Запад,
и Бога чтим ПО РУССКОМ ЯЗЫКЕ».
— Взгляд пулеметчика-белоказака,

и Чаша Евхаристии в руке.
«Мы против батьки-Сталина бороться
ПОЧАЛИ ФАЙНО, с пальцем на курке».

— За батьку-Гитлера твое болотце...
Но кто же — за — культуру и язык? —
«ДВУХБЕДРУМНЫЙ АПАРТАМЕНТ ЗДАЁТЦА».

И — подпись... — Диссидентствуй, Бенья Крик.

6.

Девиз: «МЫ НЕ В ИЗГНАНЬИ, МЫ В ПОСЛАНЬИ».
Не всякий сможет. Мережковский смог.
За что и был кем только не ославлен.

Да, мыслями двоился мистагог.
Антихрист у него смыкался где-то
с Самим Христом. Лукавый завиток,

но в том и сущность! И она — задета.
И если что-то миру мы дадим,
так это — церковь Третьего Завета,

которая выжила им.

7.

Поэзия была, как волшебство.
Поэты слыли чем-то вроде солнцец,
слепительно влюблялись, кто в кого:

в прекрасных незнакомок, в тьму поклонниц,
в Любашу Менделееву, увы...

При том — глядели в Слово, как в колодец.

Живой водою брызгались, волхвы.
Злом любовались — всласть. И все ж неплохо
посеребрили век. А мы? А вы?

По нам ли будет названа эпоха?

8.

«Ну, что они увидят здесь у нас
из окон интуристовских отелей?»
Да будь на всех единственнойший глаз,

увидели бы, если б захотели.
Но: хорошо — в уродливой толпе —
с добротною одеждою на теле

чужие взгляды привлекать к себе.
Вещать: «Пожалуй, темпами развития
вы — впереди, но техника слабей...»

«Позвольте сигаретку?..» «Шюр, возьмите!»

9.

Утопли в ораториях, балетах
и юбилеях. Снова юбилей.
Идет страна семидесятилетних

к семидесятилетию. — Да, налей!
Той, что мозги прочистит, нашей горькой, —
уже не лезет никакой елей.

— Так что же мы? Давно скользим под горку,
а с «Похвалою глупости» Эразм
за столько лет не устарел нисколько?

Склероз, бахвальство и маразм, маразм...

10.

— Мы Запад. — Нет, еще какой Восток!
— Смотря с какого края горизонта...
Мы сами по себе — таков итог.

Меж двух сторон распаханная зона
(нет паспорта — и сразу виден след).
И эта жизнь в колхозо-гарнизоне

всех единит и делит: да и нет.
Все — против нас или за нас... Да полно!
Хвала Создателю, есть Новый Свет,

где можно век прожить, о «нас» не вспомня.

11.

Когда бы Волга в Балтику текла,
тогда предположительно иначе
сложились бы все русские дела.

Наверное, заполонили б наши
Европу. Но и немец бы успел
Россию взять — до Октября, чуть раньше...

А то и — католический удел,
на радость Чаадаеву, навеки...
Тогда бы турок не задарданел.

Да и варяг не закатился в греки.

12.

Всё из-за слов полуторех — «И СЫНА»...
От тех отбавить или нам придать —
и католическая — в Духе — сила

в какую изошла бы благодать!
Равновселенски обе главных Церкви;
не можно так: и чтить, и разделять.

Но — в кесаревых целях — мы не цельны,
в небратстве живы, вот и мир — жесток.
И только Крест соединяет в центре

Мгновенье, Вечность, ЗАПАД И ВОСТОК!

13.

Программа «Время»: в Таллинне плюс 5
и минус 50 под Верхоянском.

— Как разность эту вместе удержать?

Ведь мы физически на части хряснем.

— Да. Только силой... Прочее — не в счет.

Публично каются Якир и Красин,

а телевизионщик ловит, чёрт,

нарочно, микрофон — на фоне носа.

Смешно? Здесь даже время не течет,

погрявшее в пространстве високосно.

14.

Еще?! Нет, православные, не надо, —

и так уж на полсвета расползлись.

Но щит Олегов на вратах Царьграда

все тешит неотесанную мысль.

Культе силы есть. Но нет былой культуры —
империя при том теряет смысл.

Зато и подданные злы и хмуры:
за всё, про всё — в карманах ни шиша.
И лишь орут, поддавши политуры:

Мы всех сильнее! И — гуляй душа!

15.

Вся жизнь — противоборство с этим танком.
Он прет, а я (казалось мне) храню
ключ — развинтить чудовище! Да так ли?

Как тянет нас на теплую броню!
Мальчишество? А что! Вскочить на панцирь,
и — дать по мировому авеню...

Приятно сознавать, как мы опасны.
И горько говорить: «Я ж говорил!..»
А если не успеешь окопаться —

«Вы — Божий бич!» — приветствовать атилл.

16.

Оставленный средь белобурых пург
гранитоносец, золотые шпицы, —
почти не оскверненный Ленинбург

(Москва-сарай пригодней для столицы)
с тяжелою осадкою бортов
серосуровым крейсером глядится.

Подобны крабам пятна от орлов,
подъяты якоря во тьму и зиму:
«К ПОБЕДНОМУ ОТПЛЫТИЮ ГОТОВ!»

— Куда ж нам плыть? Вестимо, на Цусиму!

17.

Бесстыден, и любезен, и свиреп, —
ни дать, ни взять, как Цезарь у Катулла, —
тяжелой государственности вебрь

в гнезде орла воссел короткотуло.
Ты скажешь: — У Истории в хлеву
свинья согнала курицу со стула...

— Но я-то на земле впервой живу!
Не наблюдал я, как летели перья,
но, кажется, увижу наяву

кровавый жир последней из империй.

18.

Солдаты, кони, девы — все крылаты.
Орлы двуглавы. Всюду буква Ять,
скрещенные мечи, эмблемы, латы...

Поэзии одическая рать...
Конечно, безобразничали в Польше.
И дома — тоже. Но, по правде взять,

сравнительно с теперешним — не больше.
Гаремы заводили? — Так, Ахмет,
и звались христианами... О, Боже:

скорбеть об этом — да. Вернуться — нет.

19.

А что, когда «в минуты роковые»
и вправду призвут? Сказать, что нет,
мол, нездоров, простите, всеблагие?

Почтительнейше возвратить билет?
Да что гадать! Давно уже призвали,
куда вставляют клизму, — так поэт

(не тот, конечно, что стоит в начале)
изволил выразиться, Ваша честь.
Все пьяны. Экономика в развале.

Какое там блаженство! Хлеб-то есть?

20.

Послушал — как помоями умылся:
мать-перемать; совсем уже дошли...
Отец Булгаков знал: в глубинном смысле

здесь — гибель Богородицы-земли.
Она от осквернителей приметно
уходит из-под ног, и — ай люли!

— Все балуешь оральным экскрементом,
а вместо Родины — давно дыра.
И что? — ухватисто да искрометно:

— Так перетак ее, et cetera...

21.

Не потому «Свобода или смерть»,
что, мол, на эшафот идут герои,
а потому, что стыдно разуместь

большой народ в короткоштанной роли.
«Хвали начальство, а не то: бо-бо!»
Молчать, мыча? Доиться по-коровьи?

Выслуживаться: пиль или тубо?
Когда бы камнем, как бы от — вращения,
не вылететь — то было б не слабо,

а сладко умереть от... отвращения!

22.

Бывало, едешь, вскинешься от дремы,
на лица глянешь — оторопь берет:
в какие всё же рыла «из дярёвни»

повыродился Муромец-народ!
В картофель человеческий... Породу
давно уже повывели в расход.

Теперь и к генетическому коду
полезли — «бормотухую» травить...
А встретишь личность — так летит к Исходу

в Мордовию. Или в ОВИР — фьюить!

23.

Жилось, признаться, именно что жутко:
размазан был какой-то ровный страх.
И сверх бывало, в виде промежутка,

навалится, и чуешь: дело швах.
И думаешь: вот в Доме на Литейном
твой следователь роется в делах.

Очередной донос подколет с теми,
и папку — между папок, в тот же строй...
А та — полна. Не лезет. Значит, время

брать субчика. — Нет, ворон, я — не твой!

24.

Срок отмотал, судьбу благодаря:
«Я в будущем России поселился!»
— Как? Неужели — снова лагеря...

«Скажу лишь: изолирует солистов,
но хором пользуется дирижер.
Вот: демократы, националисты,

религиозники — влезают в спор.
А власть всегда ролями управляет
наличными — так было до сих пор.

В Мордовии, меж тем, готов парламент...»

25.

«Увижу ли народ освобождённый?..»
— Не Пушкину, так Блоку довелось.
Антихрист ли, Христос краснознамённый

гульнул, и снова в рабство впал колосс.
— Увидим ли его в духовной силе?
Ведь это все, что нам хлебнуть пришлось,

по вкусу лишь КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ.
Кого винить? Не ясно ль дураку:
мы сами проворонили, разини,

какую Родину!.. Россиюшка — куку!

26.

Нет частной собственности — есть продукт,
но трогать не велел хозяин-барин.
А как не взять: другие украдут!

И тянут всё и вся в худом амбаре
(да с гаерством: «да я вас попрошу...»):
тотально — толь и тюль, на стройке, в бане,

котам песок, объедки поросю
(«Ну, мыслимо ли жить с одной зарплаты?»),
пока страну не разворуют всю.

Зато покорно-пьяно виноваты.

27.

Туды — «шекснинска стерлядь золотая»,
куда и «щука с голубым пером»...
ПОРТКИ БЫ МЫ ПЕРВЕЕ ЗАЛАТАЛИ!

(Зато, видать, и лезем напролом,
что стыдно отвернуть...) А ведь когда-то,
как нас, кормили Землю мы зерном:

чего-чего, пахали мы богато!
Теперь вопрос: ЧЕМ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ?
— Смекалкой полупьяного солдата?

И — кто есть русский? — Нищий? Или тать?

28.

Нас — не было. А были чудь, да меря,
да, так сказать, насельники полей,
себя еще никем не разумея.

Но с печки слезли пошукать людей.
— Что за река? — Дунай!.. Сады и пади.
Богато. Хоть садись и володей.

Как бы не так! Себе потеряли сзади:
— Мы, стало быть, славяне, примечай...
Отсюда в песнях: садо-виноградье,

а в реках и ручьях: Дунай, Дунай.

29.

Спасибо Геродоту — просветил,
откуда суть пошли слабинки наши.
А вышло так, что из днепровских вил

Зевес русалку взял. Ея появши,
он (в сущности — Перун и Богогром)
ДВУОСТРУЮ СЕКИРУ, ПЛУГ И ЧАШУ

трем сыновьям — дал, золотые, в дом.
И вот с тех пор — мы, их потомки, вечно
СЕЧЕМ ДРУГ ДРУГА; ВКАЛЫВАЕМ; ПЬЕМ,

надсаживаясь под эмблемой вёщей.

30.

Как труд умеет очернить субботу,
так вот и мы — что толку, что сильны?
Злоравенство, небратство, лжесвободу

мы взяли сдуру лозунгом страны.
А как его сменить — не понимаем,
когда и в стаде все разобщены.

И мучится родимая, немая...
И душно, брат, — дышать и не проси,
покудова земля не принимает

Главнопокойника Всея Руси.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

31.

Когда бы я по-прежнему жил там,
сказав «УЖО», как пушкинский Евгений, —
за мной не Медный Всадник по пятам,

а на броневике чугунный гений:
«Та-та-та-та», — татарский злой прищур
плевал бы пулеметною геенной.

И жест — знакомый, даже чересчур:
«Он — там...» Петляю, в горле бьется рвота.
«Молчаньем уничтожу! Запрещу!»

Попал. Вот это — хуже пулемета.

32.

Для тех, кто больше к символам привык,
она медлительною кожей-рожей
не конь и уж никак не броневик.

Россия на коровушку похожей,
что негда так Платонову далась:
не только молоком, но шкурой тоже,

и телом, и теленком поделаясь,
к тому и защитит ни за спасибо:
такая уж судьба — такая власть.

— Хозяева! Воздайте кроткой, либо...

33.

«Не дай нам Бог увидеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный». Пушкин.
...Тебя же первого и загребут.

И — по соплям. И — гирькой по макушке.
Звереем пьяными. Зато потом
такие паинькие сим-пам-пушки —

самим не верится, что был погром.
Ярмо пожестче — и порядок вроде...
Сначала справься там, в себе самом:

— А ну, как на духу — готов к свободе?

34.

Легко загадить мальчику мозги:
«Труд. Деньги. Деньги-штрих»... В лесу абстракций
ни сущности порядочной, ни зги.

И кое-как, и как-то по-дурацки,
но раскумекал кое-что простец,
и — поражен: «Мы у Хрущева в рабстве!»

И вот накоплен, выношен протест
(все, что ни хочешь, вытерпит бумага),
сочится, прямо капает подтекст:

«За Родину, за Сталина!» — Бедняга!

35.

Мы — по бесправью — равноправны все.
Но нам и тут намного жальче женщин:
они же — словно белки в колесе...

И как-то удаётся ведь зажечь им
в крови пожар и в доме ореол.
Воздать бы нашим любушкам, да нечем.

— Но почему: работаешь, как вол,
а ни тебе порядочной зарплаты,
ни отдохнуть, когда к себе пришел?

Поел — и спать. Всё бабы виноваты.

36.

Цыгане нашу душу вы-пе-вали,
она буквально таяла, как снег,
и струнные страданья всех повально

тянули в степь. Алеко. Скрип телег.
И там-то мы в татарстве наторели
и растрепали дух. Но интеллект

точили нам и немцы, и евреи.
И наточили пуще палаша,
хоть правду режь. В куски ее — острее!

Заг-а-дочная русская душа!

37.

Хотели взять всю истину зараз.
Но сыворотка той сырой идеи,
привитая, створаживалась в нас.

«За справедливость» вроде... А на деле —
мы выжили-то чудом и тайком,
на мессианстве собственном балдея.

Весь опыт был преступным тупиком.
И все же он — по миссии — единствен:
теперь, кто соблазнится о таком —

знай дегустатора «заразных» истин.

38.

Не верят — пусть действительно проверят
на нежных шкурках ино-вариант.
Когда с походной кухней по Ривьере

он сам прикатит к ним — поговорят...
Кой-кто надеется, что по идее
ТАКОЕ — утвердится тут навряд.

Но мы-то знаем: цепкое на деле,
крутое по вытягиванью жил...
Лишь те помогут в общем обалденьи,

кто БУДУЩЕЕ ПРОЖИЛ и — изжил.

39.

«За Родину, за Сталина — за мной!»
И все ж не политрук, а студебеккер,
нагруженный тушёнкою свиной,

спас малолетних нас — хвала навеки!
И — вы: но не стратег «любой ценой» —
бесценные солдато-человеки,

которых тот угрохал в Шар Земной.
И вспоминает, низойдя на отдых:
«Как шли они за Сталина, за мной!»

— Не трогайте. Отдайте наших мертвых.

40.

Развернутая как-то ОТ ВРАГА
(с мечом Венера иль без крыльев Ника),
бетонной тучей застит облака.

Мать Родина — по замыслу. Гляди-ка,
сынов на смерть зовет кошмарный рот.
За имя, да еще ТАКОЕ — дико!

За землю? Ни былинки ни растет.
За — в пятнах нефтяных — реку бурлачью?
А Дон и Днепр — что, были не в расчет?

— Отдать, и приплатить еще впридачу.

41.

Подпасок уступил, а я и рад:
забавно — порадеть о поголовьи...
Увлёкся. И все лето пас телят

в послевоенный год полуголодный.
Причем у стада был туберкулез.
(Упали показатели коровьи,

план недоперевыполнил колхоз,
и вот больных по окончании года
сдавал он государству.) Нет, всерьез?!

А — полупоголовие народа?

42.

Да, это мы толпою шли в народ.
Учили: «Человек — от обезьяны.
Все люди братья. Значит, бей господ».

Увы, из нас повыбили изьяны
вот этой самой «будущей зари».
Теперь учить и некого — все пьяны, —

и некому... А что ни говори,
ведь мы и есть — народ. Да, тот, который...
И вот идем толпой в золотари!

В — наладчики, кондуктора, вахтеры...

43.

Ученый слой чинил верхам помехи
и зависть размедвеживал низам.
О бедствии предупреждали «ВЕХИ».

Переиграть Истории нельзя,
но и за то спасибо вам, витии:
хотя бы кто-то зрячим был не зря.

Кто были виноваты — заплатили...
Кто дальше долженствует? — Мы должны
растить растребушённые святыни

и покаянно звать «ИЗ ГЛУБИНЫ».

44.

Считается пока, что это — мода:
раскрытый ворот и нательный крест.
Из тех же, безобиднейшего рода,

что были при Тиверии, — протест.
НО КРОТКИЕ НАСЛЕДОВАЛИ ЗЕМЛЮ...
Пускай с фальшивой кепочкой протез

на место Бога влез без угрызений —
рассыплется... А Ты, Живый, гряди!
Избави нас от пасти Колизея.

Зато и крестик носим на груди.

45.

«Ты без бумажки — нуль», — закон знакомый.
Недаром из бумаги произвел
китаец — страхолюдного дракона.

Доставил это чудище — монгол.
Но чем русей, тем чино-монструозней
чинит оно стозевно произвол.

Зубцами обнесло себя от козней
и — лай... Как заметил де-Кюстин:
Горыныча хоромы — Кремль московский.

Ему за меткость многое скостим.

46.

Нам указал покойный Белинков,
что Чичиков — седок на Птице-тройке.
Возможно. Пал Иваныч — он таков.

И некрофил, и скупщик. Но не только.
По подозреньям (самым диким, пусть)
в СОЖЖЕННОЙ ЧАСТИ он бы взялся с толком

покойных Селифанов и Марусь
превоскрешать у прялки и орала.
Так — не куда несешься, тройка-Русь,

а: Господи, да где ты там застряла?

47.

Мы «красоту, спасающую мир»
(нисколько не желавший быть спасенным),
пытались вызвать дребезгами лир;

полу-Орфеем, в пай с Анакреоном,
а то и полным Блоком был поэт.
Но пел «униженным и оскорблённым».

И если влёт поэта бил дуплет,
то публика тем самым признавала
его куплеты — делом — разве нет? —

«О злостном утвержденьи Идеала».

48.

Наш Федоров — прохладных мудрецов
совсем отверг: все — путаники, дескать...
И — силой — воскрешение отцов

готовил; по продуманности — дерзко.
Во братстве об Отце — божествен труд.
Наука с Церковью — в совместном действе

с Искусством и Войсками — обретут
рабочий принцип сотворенья чуда.
Расселим по мирам воскресший люд...

— Попробуем? Кто первенец ОТТУДА?

49.

Казалось бы... Но нет! За новой модой
бечь, фалдами развеивая фрак,
и ради Музы рассобачить модуль

церковного сознанья — а никак!
Иначе ж мы в несовременном свойстве:
без вольностей, без европейских благ.

А если бы и не было их вовсе?
Их тут и быть не может! Чем же плох
единственный из нас в небесном войске?

Всего один. Державин. Ода «Бог».

50.

Что лицеистам так, культуре — драма.
Силен Шишков, а вышло-то по их:
закляв себя от СЕМО И ОВАМО,

два шалуна сменили русский стих.
«Онегин» — да, и здорово, и ново,
и «Соловей мой» до сих пор не стих.

И все ж — какая выпала основа!
Не против Пушкина СЕ АЗ ПИСАХ.
Но — вдруг — замолкло Игорево СЛОВО

у Серафима в Саровских лесах.

51.

«А в Оптиной мне больше не бывать»...
Леонтьева-то нет; не та и пустынь:
кресты посшиблены — прошелся тать,

тотален, безнаказан, необуздан.
И глушит Божью нивушку — лопух.
Знать, на Святой Руси и вправду пусто!

Порастравил нам душу (или дух?)
и дальше растревляет — Достоевский:
— А старец-то его того, протух...

Что тут? Намек? — Так и Россия, дескать?

52.

Изыдет бес «молитвой и постом».
— Страна давно постится поневоле,
да вот молитву прочит на ПОТОМ...

А был у нас рачитель над Невою,
боец ледово-лавровый за всех.
Но те, о ком предстательствовал воин,

кощунственно сгребли его доспех —
из серебра намоленную раку.
Он спит разоруженный, не успев

ни отразить и ни простить атаку.

53.

По медному грошу, по пятаку,
алтыну да семишнику — богато
воздвигся Храм на радость мужику,

избавившему Русь от супостата.
Явился новый: «К чёрту — срыть совсем!
Поставить здесь — до неба — Герострата!!

И — чтобы в голове сидел генсек!!!»
Пустырь и котлован. Проект распался.
Налили воду. Все-таки бассейн.

И — физкультура. И грибок на пальцах.

54.

Мольбу возносят «темные» бабуси
о благораствореньи воздушных,
и — благорастворяются воздушные.

И плавающий — на плаву, сухой.
И путешествующий сел под кленом.
И за недугующим стал уход.

И — реабилитирован плененный.
Земля родит, хотя и не сполна,
и власть уже не душит миллионы

народу... Странно, а — стоит страна.

55.

Да. «Не стоит ни город, ни страна
без праведника». Здесь творец Матрёны
прав полностью. Молельщица — она,

в платочке бабка, коих миллионы.
Покрошит хлеб, и — паре у ворот:
— Входите, двери храма отворены.

Помянет мертвый и живой народ,
и — в очередь, зятюку на опохмелье...
Ко щам еще и внуков обошьет.

Те: — Бога нет!.. Она: — Мели, Емеля!

56.

Не только «Я — ТЕБЕ, А ТЫ — МЕНЕ»,
но связи в целом — крепче на морозе,
а при советских трудностях — вдвойне.

Целуются чины, как мафиози.
У них единство, а у нас? — Держись?!
Э — нет, и при начальственной угрозе,

тем более при ней, нужны, как жизнь,
те, перед кем откроюсь без боязни.
«ТАК — СО СВИДАНЬИЦЕМ!» Стаканы — дрызнь!

И — волны дружелюбья и приязни.

57.

Народ жалеет армию свою.
К примеру, едет рота в электричке:
«В ученьи тяжело — легко в бою», —

одобрит некто, подавая спички.
«Кури, сынок!» У каждого по две
гранаты, да патронами напичкан

Калашников. Да пот на голове.
«Кури, солдат, гляди повеселее.
Легко в бою...» Погон. На нем — ВВ.

— Воюем, батя, против населенья.

58.

Почтовый ящик. Нет, не на стене,
а многостенный, тысячеколонный,
с охраной — от обычного втройне.

Какие там сгнивают миллионы!
Пустить бы на «портянки для ребят»,
но нет. Запрет. И лозунг намалеван

«ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ!» Секретно все подряд:
журнал из-за границы; марка стали.
Успехи техники. Партаппарат.

А самый-то секрет — КАК МЫ ОТСТАЛИ.

59.

Залейся молоком, заешь мясом,
и, на желудок руку положая,
выбрасывай костюм, когда измялся.

(Незанятость? — Пособьем хороша!)
Да сколько бы ни выплавили стали
на ту же душу (бедная душа!),

нормальный Запад нас кругом обставил.
Признаем ли когда-нибудь? — Ну, да...
Скорей — навесим на решетку ставень, —

морить народ, и — врать: во всем, всегда...

60.

Какая крепь лесов! Какие реки!
Громаднейшие избы. Старина.
Селились тут, на Севере, навеки.

А — ни души. Вся жизнь умерщвлена.
Кто этот враг, и откуда взялся?
— А коллективизация? Война?

А весь подъем аграрного хозяйства
с оттоком сил в промышленную сеть,
с подснежной кукурузой — не сказался?

Тишайшая, умильнейшая смерть

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

61.

«Любите Родину!» — Смешной приказ.
Мы родины себе не выбрали —
какая есть, изрядно въелась в нас.

Правителей любить? А не пора ли
страну с ее несчастьем не мешать.
Но на каком-то там витке спирали

мы на хмельную голову ушат
как выкатим! Трезвеющие люди
хотя бы себялюбьем не грешат —

сам испытал. Россия — буди! Буди!

62.

Разрыв-траву найдя, её затырь;
иди за третьим облаком — увидишь
бело-горючий камень Алатырь;

сверни налево; а на берег выйдешь —
молись вовсю угодникам святым.
Тогда-то потаённый ГОРОД КИТЕЖ

всплывет из вод сквозь легкий полудым
в колоколах и куполах, и силе;
в красе и славе... А за Градом сим —

намечтанная прадедом РОССИЯ!

63.

Так и бывает: подпят старушек
филологи в поморских деревнях;
те — в мыслях отойдут от постирушек,

и причепурятся, и: ох-да, ах
да как заколыхают звоны-стоны...
Многоголосье! Глоссолальный Бах!

Свежо и дико, древне и достойно.
И где-то там, где ты — уже не ты,
запустишь диск... И — вот они, устои,

от коих дал ты, лапоть, лататы.

64.

...Но не поет! Идет на крик крещендо.
Тысячелетье — разве это срок
для отрока-народа от Крещенья?

До — отреченья... Видно, не глубок
днепровский омут, где топили «прелесть»:
Перун уплыл, Велес и не промок...

Ну, а в подростке силушки прозрелись,
застыла кость неясного лица
и, кажется, вот-вот наступит зрелость.

— Нашед себя, ищи, сынок, Отца!

65.

Здесь — наше сокровенное... Опора.
Толпа-Мария входит за теплом
в вертеп золотопостного собора.

Все так тебе утробно-близко в нем,
что, кажется (да не поймите всуе),
Христа родишь молитвенным трудом.

Евангелю грозит, благовествуя.
Раздайся, Адов коммунал-сарай, —
мы Истину рожаем: Аллилуйя!

Ликуй, Исая, и — литургисай!

66.

Из двери деревянного острога
главу просунул Государствозавр:
глядит, а там Европа-недотрога.

Скумекал все. И деву-Польшу взял.
Чу! Звон меча о камень на пригорке,
и глас: «Направо? А налево — лязя?»

— Никак драконобой идет — Георгий?
Гора времен. Пространства. Облака.
По степи — ветерок солоногорький.

Сон. Пастернак. И веки. И века.

67.

И «баю-бай», и туго пеленами
заматываем по рукам-ногам,
(потом — иные меры применяем).

И — сказочку, как баивали нам:
— Заметил колобок, что прутья редки, —
дал дёру, а лиса его ням-ням.

Не убегай, катыш, от бабки-дедки,
не соблазняйся золотым яйцом.
И — волк заглянет в глазки малолетке

нестрашным человеческим лицом.

68.

Аршином не измерить. Но — безменом:
противовес — исконнейшая Русь;
чека — Урал; а на плече безмерном

висит пространства лесопустный груз,
морозной беспредельностью укутан...
— Боишься ли Сибири-то? — Боюсь.

В мешок таежный сунь любую смуту,
и — нет говорунов. И — тишина,
понятная в оттенках лишь якуту:

— Однако, молчаливая страна.

69.

Жевали хлеб, земелюшку пахали...
Да сдернули кормильцев с борозды —
а то у них сознательность плохая.

Поехало хозяйство не туды...
— Селу придут на помощь горожане! —
велят руководящие бразды.

Но — пальчикам картофель угрожает;
внаклонку разболелась голова;
изгваздались... А что до урожая —

кому какое дело? — Трын-трава.

70.

— Скажи одно, а действуй по-иному,
и вовсе третье вычисляй в уме.
Сынок, запомни эту аксиому...

Ну, как тут разобраться (а — сумеи!),
когда отцепредательство в почете
и тут же — укрепление семей?..

За что: кто почестней — тот перечеркнут?
А кто подлей — руководить пролез?
И — вывихнутый мир сидит в печенках...

Шизофрения — жизнь, а не болезнь.

71.

Варяги, да татары, да поляки
по нашим землям погуляли всласть.
А за голландцем ряженым — и всякий...

Спасибо скажем, если примет власть.
Есть, видно, зло в самой верховной силе,
и взять ее — рука не поднялась.

Зато и Грозные не зря грозили,
и латыши строчили в решето,
и вырезали нацию грузины,

и спаивали вдрызг... А нынче что?

72.

Все заодно — новопородной массой...
Штаны мешком, щетина бритых щек —
обозначали с Родиной согласие,

энтузиазм, лояльность... Что еще?..
А патлы — от прозападных влияний —
с юнцов тогда срезались горячо.

Но моды непокорные виляли...
Теперь в толпе на бороды взглянуть —
наружу лезут вятичи, древляне,

поляне, меря, кривичи и жмудь.

73.

Другие люди русским — не чета...
Незаурядно все же: взять Культуру,
и — нос отбить. Три буквы начертать

и укатать её до Акатюя.
И затужить: где та, что я люблю?
Авось, уже вошла в волну крутую?

Поддать бы баргузина «кораблю» —
той самой бочке в слизи омулевой...
И ждать... И — пить. И кланяться Нулю,

что в пиджаке повсюду намалеван.

74.

Покончить с этим пьяным окаянством!
Закрыть Неву мостом бетонных плит;
поверх — песком засыпать океанским

на толщу в километр. И пусть он спит.
Забудется и место, хоть не сразу...
Песок законсервирует, как спирт,

решетку в Летнем, пики, вязы, вазы,
века... А заскребется Город-краб,
и мальчик закричит стрекозоголазый:

— Глядите, эка! Ангел и корабль!

75.

Уже в какой-то мере ТРЕТИЙ РИМ
(Четвертого нам не видать вовеки)
мы на семи холмах московских зрим.

Наводят трепет кесари-генсеки;
за шайбу — гладиаторов арен
обожеествляют ликторы и ээки.

...Народы нефть подносят нам с колен.
Роль Греции к лицу играть Европе.
Америка — известно, Карфаген.

ГАЛАКТИКА — СЕРЕБРЯНЫЕ КОПИ.

76.

СОБОРНОСТЬ — это наш духовный верх.
Но чуть не так — своих же атакуем:
отмежеваться — главное — от всех.

Сидит в любом из нас по Аввакуму
и кукиш мастерит из двух перстов.
А то и разом — Разин и Бакунин...

И — проглядели трюк весьма простой:
СОБОР ПОДЛОЖНЫЙ выбрав по контрасту,
мы до сих пор междуемся пестро...

Старинный лозунг: «Разделяй и властвуй».

77.

Ослепли от общественного глянца...
И «Колокол» из Лондона звонил:
— Нужна, как воздух, полная огласка!

Спустя столетье следовать за ним
рискнули звонари из Техноложки
(марксизм их полудетский извиним) —

но в Потьму привели сии дорожки.
Безмолвствуют народы на Руси...
И слушают, от тишины оглохши:

ревут глушилки. Лондон. ВВС.

78.

Земля на Красной площади круглей,
а если смел, то и поступок выше.
Треть миллиарда все-таки людей,

но только семь из них сумели, вышли.
Все в этот день по виду были «за»;
я тоже был хорош, арбуз купивши...

Лишь офицеры прятали глаза.
Ждалось дисциплинированным чехам,
что в мире разыграется гроза.

— Коль семеро пошли, губить ли всех нам?

79.

Сначала долго сеном да навозом,
да крепким потом пахло: русский дух!
Да порохом. А после — паровозом.

Вдруг шибануло бочкой — дух протух.
И страхом потянуло — гадко, липко
из коммунальных кухонь-комнатух.

Чуть форточку открыли по ошибке,
и — снова топору не нужен крюк.
Надышано у нас настолько шибко —

висит и так, зацепленный за фук.

80.

Навертишься, — чем не антисоветчик:
убогость жизни, лай очередей...
А, скажем, выдается тихий вечер

и примиряет с миром, чародей.
И кажется, что впереди, как море, —
наполненные переплёски дней.

Не век сидеть в прокуренной каморе,
еще увидишь всё, чего лишен.
И сколько можно числиться в крамоле?..

Всё... Законный ангел сеет сон.

81.

Здесь, парень, ты не ходишь, а паришь...
Ногам — беда, а глазу — пир и отдых.
Поехали? — Шалишь! Пускают лишь

от нас ругателей международных.
— Да как же так? Вся музыка души
воспитывалась на парижских нотах,

а с Пушкина мы все — нехороши,
невыездной народец третьесортный?..
И только Чехов кашляет в глуши.

— В Москву, в Москву! — кликушествуют сестры.

82.

В Констанце уголь взяв, надраив бронзу,
ступил морской утюг на полотно.
Прогаркнуть предстояло броненосцу

отходную империи. Кино.
А в жизни он бы скормлен был торпедам:
— «Сторожевой» восстал? Пустить на дно!

«Потемкину» в кильватер, тем же следом
ракетоносный крейсер лег на галс...
Столбы огня с неделю снились шведам.

Никто не выплыл. Режиссер солгал.

83.

А может быть, твердить еще больней:
— Да, мы — рабы, рабыни и рабёнки,
достойные правителей, ей-ей...?

Не цепи нас неволят, а пеленки.
Мы колокол отлили вечевой,
но где же к вольности призывы звонки?

И — тянем государство бичевой,
ракетный флагман — лямкой — прочь из кожи...
Да, мы — рабы, а что? — А ничего:

не раб, но соработник нужен Божий.

84.

Тайга — закон, а в ней медведь — хозяин.
— Возьмут за копчик — и окоротят,
отнюдь не пустолайки, — в наказанье...

— Ну, этих-то страхнет он, как котят.
Вот ежели дракон из бывших братьев
пойдет на братьев-медвежат... Хотя

еще увидим, так ли нас попрасть им:
до тошноты отвратно, аж трясет, —
под новую Орду подпасть, обратно,

среди народов слыть за третий сорт.

85.

Со сроком жизни что-то не тое,
не повезло: недолго время длится;
мы — из небытия в небытие —

на дереве народном только листья.
Лишь бы успеть напчковать ребят,
напечатлеть, как вести, наши лица.

А у народа выдох — листопад.
Империю крошатся — что там личность!
Но жилки в нас трепещут невпопад:

— Из времени ни одного не вычешь.

86.

Юнейший, он сказал о несказанном
и Демона постиг пареньем строк.
Твердил одну молитву. Но Казанской

не шел его облитый желчью слог.
И, мучась от красы невыразимой,
он выразить ее так и не смог.

И вот: «Прощай, немытая Россия!»
Она его простила в смертный миг.
Соборую, грозой оросила:

— И ТЫ ПРОСТИ, КОЛЬ ИСТИННО ВЕЛИК.

87.

Приписываю вещему Бояну:
по русской степи ехал Святогор,
пресытись богатырскими боями.

Вдруг — сумка, гордой силушке в укор.
Поднять ее натужился бедняга.
И — в землю по колено... По сих пор...

(А в сумке той была земная тяга.)
По горло... По макушку... Весь исчез!
Но сила от его перенапряга

до океана тянется, и — чрез...

88.

С крыла летят корпускулы и кванты,
и — в облачно-молочный океан,
и в Атлантический, и звездно-ватный...

В наушниках — Бах, Гендель, Мессиан.
Препоны разрывает аэробус
прозрачные — прозрачных марсиан,

с натугой разворачивая глобус
за Солнцем (тенью Бога) по пятам.
— Россия? Слышал. Есть такая область.

Верней, была. Когда-то, где-то там...

89.

Ползут по сердцу слезные расплывы,
и облачные тени — тут и там,
где так Христовы старицы красивы

со звездами по синим куполам.
Холмы. Белоберезовые рощи.
Поляны и дубравы пополам.

И соразмерно все, и что-то прочит,
и прошлое с грядущим заодно...
Вот здесь и лечь — нет сладостнее почвы

и натянуть на голову дерно.

90.

Да не сочтется эта речь за наглость:
— Не «Городу и Миру» — ей о ней,
стране моей, сказал я с глазу на глаз

ей-ей же правду... Издали видней.
И ежели я не увижу боле,
как говорится, до скончанья дней

картофельного в мокрых комьях поля,
сарай, платформу в лужах и вокзал —
ну, что ж, пускай. Предпочитаю волю.

Умру зато — свободным. Я сказал.

Ленинград 1977 — Милуоки 1981

ПЕТЕРБУРГСКИЕ НЕБОЖИТЕЛИ

Анатолию Генриховичу Найману

1. Престолы

Этот город, ныне старый
над не новою Невой
стал какой-то лишней тарой,
слишком пышной для него.

Крест и крепость без победы,
и дворец, где нет царя,
всадник злой, Евгений бедный,
броневик — всё было зря...

Ста чужих языков гомон,
крик приказов у казарм —
стихло всё. Как вымер город.
А о людях что сказать?

...Изначально заболочен
и заклят Авдотьей... Пусть
под имперской оболочкой
люди есть, а город пуст.

В эту выпитую чашу
кто Истории долъёт?
Ангел, вечно влево мчащий?
— Не летает ангел тот.

А когда-то заповедно
небо метя парой крыл,
Ангел Западного ветра
этот город золотил.

Он, креща в святую веру
всё — от моря до земли,
позлащал собой и ветер.
Вниз его теперь свели.

Был красой, грозой и силой,
шпиль — его былой престол, —
низведён, утрачен символ,
обезангелел простор.

Обескрылел и заветрел...
И топча петровский торф,
кто живые, те не верьте:
люди есть, а город мёртв.

Был он весь, как весть о чуде,
списком каменных цитат
был... Но что с той книгой будет,
и кому её читать?

За последнюю страницу
кто заглянет в пустоту,
на конце споткнув зигзицу?
— Ветер лищет книгу ту.

В эту цель конечну вперясь,
разлетелся ветер Вест.
Горизонт уж очень перист —
где он, гений этих мест?

Гений — города Летатлин —
ангел, был на луч воздет.
Но и он, как обитатель:
нет любви, и дома нет.

На последний — не посетуй,
то есть: гроб, гранит, металл.
Много красного по свету
Вест недаром разметал.

Человек сгорел? — Горами
свай людских, телесных дров
там огромно догорает
клятый век, петровский торф.

2. Силы

Людей полно. Конечно тех, кто выжил,
но у толпы я ни лица не вижу.
Где, например, тот смертный, как Патрокл,
кто жил пером, кто даже душу впрок

в заветной лире прятал, сочинитель?
Вон у Сатурна кровь на бороде,
опять он жрал детей. Теперь ищите...
Теперь не спрашивайте, где.

Страна-Сатурн с раззявленным болотом:
четвёртый век в нём будет поперёк
мой вертикальный город недоглотан.
А гения и ангел не сберёт.

Где сердце, мозг — всё враз? Где эпилептик,
кому вlepили вышку за ништяк,
сказали бы теперь. Но, сдав билеты,
вы эшафотом с ним переболейте,
а после спрашивайте, где и как.

У дамбы — лужа. В ней кармин и охра.
Как ярко хохотал комедиограф,
луж осмеятель востроносый,
который написал... Который сжѐг...
Где ж он? Он там. Где там? Что за вопросы!
Закат испепелѐнный — жѐлт.

Закат — как сотни зорь пылал. И розу
слал незнакомке полубог, жених, —
ей, а не Деве радужной на ризу...
Но Русь, как будто чушка — чад своих,
похавала его, красавца, в луже.
А нам? А вам, оставшимся, тем хуже...

И строгой царскосѐлки вам не жаль?
При звуках омерзительного бала
сползла наплечь поруганная шаль,
и — некому... Кто мог, того не стало.

Вот ангел (то есть — песня!) отлетел,
Поблескивает близким устьем Лета,
для рвенья всякого предел:
удел речей и рек, словес и дел, и тел,
и лысин умственных — властителя? поэта?
кто вековечья слишком восхотел.

И Силы — с ног на голову всё это...

3. Души

Стали собственной одой —
воздух, золото, гранит...
И в воде — подобный вид:
опрокинутый, а гордый,
хоть и порчен, трачен, бит
сей порфирородный город.

Город-нищий, город-принц,
где имперски мыслят камни
в преломленьи невских призм.
Держит череп город-Гамлет

(кто из них — по правде — мёртв?),
и горит отцовский торф
под ногами у актёра.
— Где душа твоя? — Котора..?

— Я их выводок найду
в полуциркульном пруду,
там, где и моя белела
болью, что не с нею — тело...

Но утешен — двух — союз
там, где так стройна ограда,
так слышны подсказы муз,
что на волю б и не надо.

И найдутся — души две
в водоёме полукруглом.
лебедь с лебедем-супругом
здесь брачуются в воде.

Эти выгнутые выи
(шея — к шее двойника)
пишут буквы беловые
в чёрной глади, меловые —
мирового языка.

Клювы в самый миг сближенья
замыкают сердца знак
обоюдный. Неужели
счастье — вечно? Пусть бы так!

Так, но гордых горл излуки
лирой стали, Лаллой Рук,
И из струн исторгся звук:
— Счастью — миг, а век — разлуке.

Пишет лиры и сердца
дважды сдвоенная птица:
— Миг, он может вечно длиться,
век, он тоже ждёт конца.

— Город — улицы и лица...
Не без моего лица.

4. Крылья

Когда Ульянов, как из брюк,
из букв у города повыпал,
и потаённый Петербург
взял из Невы и выплыл.

И ангел, возглавлявший небосклон
был тоже снят, — в ремонт, а не на слом:
паять, лудить, (пожухла позолота)...

Тогда я взялся за его пята,
ту золотую запяную,
что небо отделяла от болота.

(Его изъеденный доспех
и створок симметрические братья
в часовне висли на виду у всех.

Да мог ли и воображать я,
что он так спешится?

А ведь крылат.

Я дико возжелал рукопожатья,
но дотянулся лишь до пят).

Довольно и того... Спасись!
Перенестись — в иное, —
равно-лазурны одиночество и высь,
но позолота — внове.

И — вековечить. Но уже вдвоём
с огромным новым братом,
и окормлять с ним ó-плеч окоём,
и делать кормчество крылатым.

Чудовищны и Ариост, и Тассо.
И даже я — представь и удивись —
я в Боинг сел и — ввысь.
А он остался.

5. Паруса

Отплавал по волнам Невы и гавани
добротный бот... Смолистый барк?

Теперь весь этот воздух, им возглавленный,
летит во мрак.

И не подвёл, а сдюжил, дело выполнил.
Но, снаряжаясь в новый век,
он золотит ветрила, руль и вымпелы,
и: — Все наверх!

Иль это галиот? Летит прославленный
скрипучий бриг... Или — корвет?
Да это же — для будущих послание,
и — вскрыт конверт.

А из него — листки... Не детям этим ли,
депешу развернув, прочесть
«Курс — Вест?..» И в молодом тысячелетии
ответить: — Есть!

И эта высь, и ангелы плечистые,
что город сверху берегут,
его к себе, крылатого, причислили
вдруг, на бегу...

И, — так держать, чтоб, главное, от берега!
В даль, за таможенный буйан,
в те глубы, где галактика, Америка,
вновь — океан.

Я правду корабля не только выстоял,
я вылетал её, и вот
гляжу: летит и он, как ангел истинный,
ввысь и вперёд.

6. Столпники

*«Niki's looking at hussars»—
алмазом по стеклу Зимнего дворца*

Над кровельной и жёсткой жестью
воздеты жесты:
то бронзой указывает перст
туда, где крест,
то камнем воздымается десница,
грозя всему окрест
от верха и до низа.

И ветра празелень,
и облачная накипь
на тех руках вознесена.
Се — город, мыслящий инако,
чем целая страна.

Смотрители его и озиратели
закатных рун, рассветных сутр —
два столпника, всё видевших заранее...
И знали, что несут.

Екатерининский, Александрийский
на куполе и на столпе
держали крест — дать вестью озариться —
один царям, другой толпе.

А Ники из окна дворцового
залюбовался на гусар,
очнулся лишь, когда ему доцокало
(подковами да по торцам):
— Ты царь!

— Не царь я...

— Царь!

И — точка трибунала.

Тем, из толпы, — им отречения мало,

а, иродам, и род весь — извести.

Царина готская, царевны, цесаревич

посмертно — в негашёной извести...

Что, этот стыд — молчанием заречь?

Пусть мути будущего непроглядны, —

сил не убудет у эмблем:

крест выдрали, остался жест проклятья

всему и всем.

Но ангел без креста,

он — сразу — демон,

И, облетевший ликом, тёмный телом,

он — нераскаянный, нависший груз,

блокадный мор, и глад, и трус,

и пытки,

и разрушения и наложенье уз,

и беды (ещё неведомые!) — в избытке.

Не слишком ли грозит крылатый камень,

даст ли надежду бронзовая кисть?

Где гибель ангел-нехристь предрекает,

там крестоносец — каждому:

— Окстись!

7. Славы

Сколок солнца, пернатый соскок

вниз и вперёд,

а тут и колонна,

чтобы следок
о неё оперев,
мах — и в полёт...
Окрылённо

ей бронзоветь.
Слава — это и венчик, и ветвь:
лавр — услада герою,
и пальмой — овеивать...
Иль поэта приветить.
Он ведь
славой второю

мечен в преврат-
ном понятии прочих.
Пернат.
Им обеим не чуждый.
Чести не рад.
Так ославлен собратом,
что плюнешь: — Вот чушь-то!

Вот, в лучах они — две,
двое слав,
двое бронзовых славок.
Как удачен колонный отвес:
оттолкнулись, и — нет в синеве...
Ты — и высь! Ты — и свет этих слов:
— Обе славы — для слабых.

8. Шары

Если карта есть, где как-то
город-возглас нанесён,

значит (вывернув Декарта), —
существуя, мыслит он.

То его бросает в холод
и знобит, то — в зябкий жар.
Если мыслит этот город,
мозг его — прозрачный шар.

Даже два... И выкрик: — Эка,
ну и век! И верно — зверь.
Квадратура человека —
исчисление этих сфер.

То его кидает в голод,
то его бросает в бунт.
Если мыслит этот город,
думы голову скребут.

Измышляют кубо-сферы
план зело разумных мер.
— А в рацеях нет химеры?
Жизнь — прямой тому пример.

И едва Минерва мысли
скинет каменный шелом,
вот когда мы изумимся,
сколько бредов будет в нём.

На Неве ты ставишь опыт,
чтоб не стало чёрных дней,
ночи белые утопий
утопляешь, город, в ней.

Сердце ль в гóрсти соберётся?
Или ты и вправду пуст?
Не хватает лишь уродца,
заспиртованного в кунст...

Вот и сделал нас такими...
Потому-то я не твой,
что и сам ты — ностальгия
по культуре мировой.

И крылом гореть гораздый,
застревал в моём окне
в комнате на Петроградской
золотой твой знак — *акмэ*.

И великия поэмы, —
пар твоих реторт и колб, —
плыли, воздухом поимы,
под двойной хрустальный лоб.

Шампейн, Иллинойс октябрь 1996

ВЕЩЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

1.

Ласточкой промчи, перо,
мимо страшного зеро,
мимо яблочка пустого,
мимо бездны Льва Шестова.

«Надо нам пройти сквозь нуль, —
так он мысль свою загнул, —

надо, чтобы свет забрезжил,
тьмы побольше, побезбрежней...»

С бесконечностью во лбу
долго ль оправдать судьбу
(локон рос надлобным ворсом
вдоль лежащей цифры 8)?

Оправдать: не ждать рассвет,
но бурить $x - y - z$.
(Ординату новым Дантам
в глубь земли направить дайте!)

А судьба, являя ритм,
в повтореньях нас творит:
оторвавшийся от книги,
помню, я гулял в Тавриге.

Помню воздух, полный птах,
помню мой случайный взмах
и — как горсть запретной доли —
ласточку в моей ладони.

Сколько високосных лет
(кость виска слышна здесь, нет?)
избегал я этой темы,
что впивалась в темя, в темень

терниями. Мозг мой вспух,
но продолжить должен дух
ласточкин прелестный космос
вниз, в материю и косность.

И не хватит ли стращать
преисподней? Клён стрельчат,

но в развилках вижу: вектор
вниз направлен каждой веткой...

...В Петербурге жил поэт,
что накликал столько бед!
Слыша музыку событий,
он, однако, был любитель

в такт притопнуть ей. Но здесь
надобен скорее тесть
нашего поэта — химик
и лабораторный схимник,

чей холодный лобный свод
догадался, как кроссворд,
на одном листке-буклете
всё расположить на свете.

Всю материальность он
пооктавно ввел в канон.
Подготовил он творенья
к одухотворенью в пенье

и занес для жизни впредь
в нотный стан всю твердь, всю смерть,
мол, сыграть теперь сумеете
на вселенском инструменте!

Что же ты не мчишь, перо,
в это страшное зеро,
вглубь неслыханного зова
из развернутого крова,
в неизведанное слово?

2.

Скалистое пожатье пальцев
и голоса пустой раскат, —
состарившийся из скитальцев
могучий, убеленный скальд,

могучий угловатый Кальций,
счастливо под резцом искрясь,
всей костью ледяной оскалась,
земную укрепляет грязь.

Заёмная земная форма
в руках у костолома — хрясь —
и лопается. Пусть топорна
и жертвенна бывает связь

у плахи с головой. Собором
нам — домовина из досок.
Мы — на всемирный мертвый форум,
обратно в вещество — бросок.

Кусок его — в висок — погибни,
Орфей! Другой кусок — сосок,
пустивший из груди богини
в ночное небо млечный сок.

В пыли известняковой, в глине
перекопытив К на Ц,
кентавр, уйдя от смертной гнили,
в Центавре светит и в Стрельце,

мерцающих далёко-тускло...
Но Кальций, Кальций наш — в кольце:

веществен с мирового пуска,
он одухотворён в конце.

И, в панцирь облачив моллюска
беспомощного, сделал так,
что должен этот скользкий мускул
осмысленный носить пентакль

на раковине. Текст — а ну-ка —
пока не сплющен он в плитняк —
попробуй разгадать, наука!
Молчит, заплетена в путях

познания. Увы, ни звука...
И жесткая волна на скат
не выплеснет, тяжелорука;
уже не в силах приласкать

скалистое пожатье пальцев
и голоса пустой раскат, —
состарившийся, весь распался
на скарб вот этих строчек, скальд.

3.

Если смене дробных форм
сообщить искристый фон, —
интересно, даст ли это
вспышку в глубине предмета?

Ведь для нас мерцает высь,
так отбросим вовсе мысль,
что предмет непроницаем...
Мы не так же ли мерцаем?

Стуку сердца — стук в ответ:
недоверчивая твердь
вдруг распахивает двери,
всю себя тебе доверив.

Вещество, являя ритм,
нас самих само творит.
Не второе ли зарыто
сердце в глыбе монолита

(первое — в творце)? В тот миг,
что прорезался двойник
в пробужденном матерьяле,
мастера мы потеряли.

Так сказать ли, кто был он?
— Киприот Пигмалион,
с давних пор сюжет дешёвый
всяких мюзиклов и шоу.

Стиль, хороший тон... Бог весть,
что еще — готовят месть
из мотивов, в общем, подлых,
оклеветывают подвиг.

И пускай для всех искусств
был искусом вечным — вкус,
спуск на уровень ироний, —
мы себя да не уроним!

Вниз пойдём, взмывая вверх!
и до следующих вех,
между скалами зажатых,
Кальций — первый наш вожатый.

Чтобы не жалеть потом
(результат пока — фантом),
что слепили мы нелепость, —
он дает живую крепость

призракам скульптурных форм.
Кальций — цель, и Кальций — фон,
и процесс, который начат,
чтобы плотность опрозрачить.

4.

Хлорное дыханье дали,
блуждающий голодный взгляд, —

шляется в одной сандали,
счастливее тысячекрат,

дурнем и неряхой, Калий,
его одноутробный брат.

(Пóд ноги вдруг мыльный камень:
— А прочь его, и так богат!)

Нежности ножных прогалин
у отроков и дев — считать

равными привык благами
голодный балаганный тать.

Странно ли, что полигамен:
— Не все ль равно, куда влагать?..

так это и полагает,
и вовсе не желает лгать.

Калибан и приставала,
и банный лист, а слышит: дай!

Нижнее нужней бывало,
чем горно-грозовая даль.

«Образ отвечает мало
подчас тому, что мастер ждал,

так как вещество завяло», —
не к этому ли Дант сказал?

Почва отродясь желала
(простите: перепад немал)

конского с соломой кала,
которого и минерал

жаждет получить. А Калий
взрывающийся в нем запал.

Помните ль об аксакале,
алкающем у дряхлых скал?

Жизни эликсир нечистый
горячечно толкает в рост

травы, минерал плечистый
и (надо же, куда завез!)

светлые в ночи бесчинства —
бесчисленные вспышки звезд.

Надобно тому учиться,
что можно перенять всерьёз

разуму — у разночинца.
И голову научит торс

наголо разоблачиться.
До сути! Сухожилий трос

с мышцами сопряг ключицы
могуче, как передний мост;

двигателем подключился
к материи матёрый мозг.

5.

Всё к земле, и землю мнет
тяготенья вязкий гнет,
но забвение от рабства,
пусть минутное, — прекрасно...

Так порой летучий прах
освещён лучом впотьмах
и любой своей пылинкой
пляшет в радости великой.

Вещества томятся: даждь, —
страждая того дождя,
чья (как вызнала Даная)
суть отнюдь не водяная.

Даже весть о нем — блага!
С мыслью мастера — нога
в монолите слышит внове
музыку замлевшей крови.

Прочь из камня — первый шаг.
Дальше — больше: шарк, да шарк,
шаг, — и вот она — в полёте
одухотворенной плоти...

Тяготенья вязкий гнет
всё земное в землю мнет,
но забвение от рабства,
пусть минутное, — прекрасно!

Так, поэтов корифей,
листьям, скалам пел Орфей,
чтобы адресом и целью
стало все творенье в целом.

Ландыш, ласточка, вода,
ветер, ветвь, иголка льда,
человек с сумой потёртой,
подберезовик, тетёрка —

каждый к песне мог припасть,
ощутив себя как часть
крохотная сообразно
колоссальнейшего братства.

Так порой летучий прах,
позолоченный впотьмах,
каждую своей пылинкой
пляшет в радости великой.

Так горит заря в ботве.
(С клубнем — туч клубы в родстве!)
Снизошла с небесной битвы
до картофельной молитвы

кровь небесных лон и чрев.
А в земных — кроится червь,
что-то шьет в корнях, сосущих
к небу земляную сущность.

Ткань ползет, и рвется нить.
Надо чуть скрепить, смертвить,
прежде чем пустить на волю
вещество полуживое.

Чуть скрепить и чуть смертвить,
в чашку черепа залить
надо, чтобы не пропала,
не разлезлась бы опара.

6.

В 22 карата
магический пароль
2 пернатых брата
вдруг выкрикнут порой.
Мрачные ребята!
запрятали: не тронь! —
адовы снаряды
в кресчатую ладонь, —
с запахами нарда
и с мертвою водой.
Вороновы надо
скудели все — в юдоль
опростать бы Натра:
он, чтоб усилить соль,
за уши был надран...
Крепить весь мир собой
в страхе заповедан,

но меж выдохом и вдохом
оба — в обмороке долгом.

Не успев себя скормить,
скульптор, каменная сыть,
полу-деву, полу-глину
все ж растлил наполовину.

Да, чтоб этот нижний пласт
двинулся, он должен пасть,
дабы с тяжестью в запасе
пусть падением, но спасся.

Даром ли Творящий всех
допустил тот давний грех,
дав по своему размаху
дело — слепленному праху.

Сказано, в конце концов,
что Творец творит творцов,
вольно строящих сегодня
в тьме времен до дня субботня.

Так наш мастер плавил, мял
и себя, и матерьял...
Но меж выдохом и вдохом
оба — в обмороке долгом.

Ибо этот древний грек
золотой усилил грех,
совершенству честно вторя.
Но сечение золотое

не спасет, как ни молись.
Только лишь максимализм
поведет наш путь греховный
к общей Родине духовной.

Здесь пора отвлечься вбок.
Помните? — «Бобок... бобок...»
среди кладбищенских гниений
слышал каторжный наш гений.

Полумертвый темный бред
он в убийственный памфлет
зложил, пустив по свету
мысль бытийственную эту:

в наш вещественный состав
до смерти вырастает нрав;
как душой ни лицемерьте, —
выбормочет всё по смерти.

(Но поющий минерал
он насмешкой замарал, —
так его терзали бесы
на краю российской бездны).

...Вот и автор этих сутр
как-то вперил в перламутр
взгляд, и вымолвил случайно:
«Это — летопись молчанья!

Это — запись в лоне лон
медленных блаженных волн,
это — отсвет сокровенный
остановленных мгновений.

Это — радостная слизь,
где сгустились и слились,
и расплылись, и слепились
радуги полуслепые.

Это — праздник протоплазм,
влажно-ласковая блазнь,
жизнь ликующего сгустка,
отпечаток чувств моллюска.

Это — створчатый портрет,
оттиск музыки на цвет,
плоскость жизни нулевая,
духа в твердь переливань!»

Что ж такое существо?
— Вещество + божество,
смешанные в общем бреньи
с вечной кармой в бореньи.

8.

Всему повтор
отыщет Йод;
всегда найдет
партнера Фтор;

хоть с кем добром
сойдется Хлор;
и на позор
польстится Бром.

9.

Сойдет собор
с своих опор,
и, как топор,
сорвется хор,
а где затор, —
примчится, скор,
Фтор.

Зелёный взор
метнул в упор,
где взрыв, костер
весь город стер,
но в соль и в сор
себя простер
Хлор.

Под Божий гром
сгорел Содом.
«Отца введем
в ножной проем», —
решает днём
с сестрой вдвоём
Бром.

Бедняга Лот,
с каких щедрот,
не зная, пьет
преступный мед;
продолжить род
отца наймет
Йод.

10.

Здесь буду принужден остановиться...
О, похотью внушающая страх,
как тяжело писать тебя, отроковица!
Ты школьнику во сне вплавляешься в ресницы
и, старца поражающая в пах,
о, бешеная жеребица,
ты отлагаешься в его костях.

Дупло у древа райского посева
(где сломан сук, там узкая дыра), —
твое отравленное маленькое чрево.
Плева тебя не запечатывала, дево!
Ты бьешь в ребро, но ты не из ребра.
До Евы ты была, а Ева
в сравнении с тобой пресна, стара.

Зачем мое перо тебя задело?
Теперь я чую к демону сродство.
Казалось, до меня ну что тебе за дело?
Но ты в моих ночах действительно радела,
ты черпала мужское вещество,
родник изведав до предела,
готовая и осушить его.

Ты дерево, ты камень совращала,
вращаясь на горячем ложе сна,
и сколько бы любовно-отчее начало
тебе спокойных ласк, Лилит, ни расточало, —
из тысячи «Лолит» сотворена
набоковских, — тебе все мало,
и растираешь дико ложесна.

Быть может, сонмы солнечного снега
и ангелов алмазные снопы
и вспышки никому не ведомых энергий
сошли, чтобы твои утихомирить недра
с мимоидущей неземной тропы,
чтоб отложилась ты безвредно
в суставах голени, в лучах стопы.

11.

Отбиваемый стопой,
ритм горит у нас с тобой
в качке минуса и плюса,
в совпаденьях с пульсом пульса.

Медленно дыханье пьет
изо рта прохладный рот,
и, затопленная камнем,
ты всплываешь в истукане.

Медленная смерть горит,
но живет она, велит
из веков твоих несметных
вынырнуть женою смертной.

Выдох — и огонь заглох;
тут же воскрешая, вдох
в тёмно-потайные лона
гонит искры флогистона;

вкруг нежнейших альвеол
зажигает ореол
Эроса; в делах Эола —
лёгкое начало пола.

Здесь могучий хитрый секс
предпочел закрытый текст,
став полудуховной тканью,
ибо «Всякое дыханье...»:

вдох — амврозиальный пир!
Выдох — респир, вдох — аспир;
мыслящий, поющий Логос
и ему раскрытый лотос.

...Жил у нас один мудрец,
по еврейству жгучий спец.
Средь его опавших листьев
отыскал я пару мгlistых

истин: — О, благослови
самый жалкий акт любви,
Зиждитель! Она — не фетиш.
Ты ж — в любой любви светишь...

...Ходит рёберная клеть,
значит, хочет ярче тлеть
бликом отдаленным сила,
та, что солнце и светила

движет. Блеск ее — аспир!
Респир — освещённый мир.
Вдох — и молнией разорван
воздух с придыхом озона.

Окисляет кислород
море мировых преснот.
Выдох — и огонь на грани
полного почти сгоранья.

Что ж не наступает час,
и не сякнет звезд запас? —
Стрелки отводя обратно,
кто-то дал у циферблата

времени возвратный ход
и пополнил теплород, —
вот что людям посторонним
стройно изложил астроном.

Полчаса свече гореть,
чтоб истаять ей на треть.
Скажем, ты ушла на сутки.
В полном здравьи и рассудке

входишь — а свеча горит!
Мистика? Астральный гид,
опыты проводит с Кроном
пулковский адепт-астроном.

Не запомнил лепку щек...
Помню: взрывчатый зрачок,
очереди многоточий...
на вопрос...: «Времен источник?..»

...Будем времена считать
по числу стигматов — 5,
если взять, что быстротечность —
это раненая вечность.

Тут идет зернистый слом:
благо, вызванное злом,
вечные инфинитивы
в inferнальной, нечестивой,

чувственной — пусть будет так —
но любви! Опишем акт,
победим искус искусства,
такта не боясь и вкуса.

12.

Беспомощно забился в череп разум,
и — тишина из-под тяжелых плит.
Глаза прикрыты, но павлиньим глазом
прикосновенья вспыхивают разом —
под каждым пальцем радуга горит.
Кровь зрячая сбивается с орбит,
спеша на этот праздник протоплазм.

Ладонь богата золотом длины,
рецепторы её поют, ликуют в трансе:
благословенна вогнутая трасса,
хребтина нежная, спины
двуречье, элизейское пространство,
где сухожилья чутко сплетены.
И, чудное, как полнота разбега,
глоток полета и паденье ниц, —
конец любовной азбуки, омега,
двойное совершенство ягодиц...

Переворот страниц —
и вспыхивает блиц
из-под ресниц во тьме, белее снега.

Горит во тьме коричневая буря,
и пристальный блестит оттуда взгляд;
на глубину зубчато затененный
белок пронзительно зовет уйти назад, —

ЗВЕРИ Св. АНТОНИЯ

(бестиарий)

1. Испытание творчеством

Сидит себе опрятно-белый старец
и на обыденный, его не видя, Нил
глядит, — в прострации уставясь
на глубь, где клубится гниль,

на грязные струй...

И видит: к ним отвесна
из сердца ввысь и — в синеву — тропа,
Отцу стремимая: — Ответствуй!
Поток поставлен на попа

вдоль той тропы... В — иное небо,
сквозь череп из черев до Райских врат:
Нил духа, Ганг любви; Инд уединений;
Тигр горней радости; торжеств Евфрат...

Глядит аскет из мозговой пещеры
в сплетенья светлые, в крутыя высоты
рек столбовых; зрит Силы, Сферы,
берег опрокинутый; себя у той воды...

И — тянется к нему (себе же)
и хочет молниями с ангелом играть!
— Но тот крылат, а ты — душою — пеший,
ты — только грань, а тот — ее карат.

Тогда — навыверт знания и зренья,
иссеклась мысль — во: в небо бьющий Нил.
Но мутнышко заядло в ней созрело, —
пузырь безуминки, и чуть: чернил.

И в глаз вошла заря, а в ухо — петел;
его: трех отречений кукарек...
Как дверь с петель, ум с вертикали спятил, —
святого — смыло, выплыл человек.

Творцу подобная, во всё воткла бродило
богосвидетельская тварь
и круглышком Нуля вдруг породила,
творя таврически, —
зверей — плотской товар...

2. Пантера

Какая чуткость, мощь!
Курчав лобок, —
особенно когда он первым потом пышет...
Особенно когда не первая любовь,
но: опыт у любви любовью бывших...

И — жертва, но — допрежь
и пуще — госпожа.
Царица в золоте, и наготе, и пятнах
ползущих лун и солнце, возлежа
среди ароматов невероятных,

ее дыханием струимых,
среди
тропических просторов
она влечет сердца
живую снесь...
Счастливым — смерть.
Таков тигрицы нор.

Подруга всех, но этот нрав
опасен ей самой —
не розни: блазни
притянут недруга,

и встрянет враг:
дракон причудливый и безобразный.

И от кого?, кому?,
и — не усторожить;
в блаженном, сладост-
нейшем чреве
она вынашивает смерто-жизнь:
подобие себя же
в виде дщери,

такой же коготной, как рысь,
(и новорóжденной, но столь же властной),
что — из растерзанной утробы,
из
кровавого влагалища вылезит.

3. Рыбы

Медленноокие, плавные,
пятнами яркими плавая
в плотной и плавкой среде,
реют без тяжести
в кубе прозрачном
и будто бы призрачном,
как бы — везде.

Лунами полужелеными,
глубьями, водными лонами,
солнцами, полными звезд,
иглами, —
блзнится
наглотавшийся куст,
как парчовый лоскут...
Это: плавает рыбо-медуз
головохвостый лангуст.

Легкие, ставшие чешуей,
золотое по телу шитье,
и внезап-
ное вмиг и назад
боковое проворство;
скок; и — брык; и — вдруг прыг:
брызги порска...

И — в простое;
в просторы летит: в облака,
на соблазн то ли воздуха
то ль моряка,
жабрами жажда ветра, —
рыба,
сквозь радужных туч
мокрого Мира и Света.

Наблюдателя: в небылое: увод, —
гипнотический вывод из вод

в нежилое; в — иное
тех, кто волей-неволей
вниманьем виновен,

душ уловление;
вывих невзгод.

Красных рыб:
пустоты пережѐв,
полный рот.

Тяжесть.
Грани пространства...
Дико-бездумно. Потрясно...

4. Змеи

Не видящие неба,
невидимо
шуршащие в траве,

шипящие щавелево из ямы,
как их ни бей по плоской голове.
Мы все их жертвы: авели, адамы...

Любое людское «Я»

для них не более чем пятка,
которую они, враги, разят,
впрыскивая пароксизмы
рвотного припадка,
черные узлы окочененья —
яд.

Смерть, даже чужая,
заостря знанья
(голово — глагол им не велит —
они не тронут),
и —
особенно чужая,
возводит извиванья
меж да и нет
в разума зенит.

Язык

(единственный!)
они двоят,
извилины, ползущие из мозга,
но вот ведь:
железы не изливают яд;
в воду — нельзя,
и невозможно.

Ведь:

вода
преобразуется в живую,
а голый — в райского жильца...
Но и на их природу щелевую
есть камень умственный
узилища, конца.

Для них, однако, лишь начала:
протискиваясь в тесноте,
чтоб шкура ветхая
 изношенно застряла,
прошивши смерть
 (свою),
они уже не те...

Но — юные,
 в красе орнаментальной,
плюют, летают,
 жалят, давят,
 глотают, травят,
 вымена сосут,
совокупляются
 клубами в свадьбе свальной
и яйца с кожаной скорлупой
 несут.

5. Слон

Громадно-мудр,
 как Библия...
 При этом:
огромно-непомерно-уд!
мослы его сырых
 колеблющихся груд
подобны глинам
 разогретым.

Племянник Мира
 чуть-не-Гильгамеш,
приемыш и свидетель ноев,
но и: теля-телей;
 в родство его свиное
ты не поверишь ни за что,
 пока не съешь...

Нога столбова,
а на вкус —
как бы чудовищный цыпленок, —
детинец в каменных пеленках...
Рот обжигает не размер,
так укус.
И — укус.

Тяжеловесам жить: легко?
— Ль!..

Но оба
с домоподобною подругой
(а — башня прихребчена подпругой)
бредут, любовники,
в чаду, в бреду бок о бок
до тайного межгорья (сами горы),
к поляне сладостной,
где лес курчав, —
там, бивнями бия
и роясь у ручья,
он имет человечка мандрагоры.

Как тот заверещит, зеленокудр,
оранжевую кровь
прольет, невиноватый,
так воины из башни,
спешась (аты-баты),
хватают хоть бы: пса,
чтоб — горлу перекрут...

Она, потупясь, ждет.
А он — жрет корень,
дабы супруге недра взрыть...
Ей достается плод.

И прить:
плодить, покуда есть такое:
взрастающее:
вдрызг:
и — взбынь!

втемяшиванье тесное
меж
лядвий;
откры-
тые
чудо-
вищное
в яви:
— Раз-
двинь!

6. Муравьи / Термиты

Что за пупочки, пипочки, точки,
много точек?
Гранул патриотизма,
молекул возни и грызни,
мириад миллиарды:
грядущих и тощих?
Но — и:
будучи буквой,
буквально ничем,
одни — а другие
днем ночью
гомосят грызут,
громоздят
аут,
анти-уют:
Государственный Рае-Ад.
Рюют, лепят,
что-то все время несут,
из плевков созидая космический кокпит кают...
Корабля Смерте-Бессмертия
псевдо-природо-научную
кучу.

Копят, копают
 и мелко-но-много надрывно и часто снуют.
 А — молекулы — целое значат,
 жом и жёв полицейский
 и — впрыск леденящий в брыжейку и нерв, —
 парадокс,
 но
 означающий лицевой паралич
 для живого консерва;
 кома;
 покуда не скажут:
 да будешь ныне снedyю,
 что будет нами ядома...

Эти — храм	Те — дом
по жаре	по ночам
вылепляют	пожирают

созидая, грозя,
 угрызая друг друга — доходяги, подлизы
 сосут грандиозную гузку,
 по существу: экскремент,
 тот, что небо симметрий скребет,
 генеральный сакральный сексот-секретер,
 секретарь
 коллективного цезаря,
 матки-царицы,
 сортирный алтарь.

7. Единорог

Зверь зверей,
 и — выше человека,
 и — главней слона:
 и ни козел,
 ни конь:

белой челкой
чуть прикрито веко,
и — торчит — такой
рог витой в надлобьи,
золоченый,
привлекая дев.
Почему?
Да потому, что чары,
потому, что крупный и крученный
раскрыватель чрев.
А и он — приважен — потому же:
что:
приманка на крючке...
Ну и — пусть!
Но ей же и на ужин
он копьём насквозь проужен,
и ловец по-подлому учён
музыке и рыцарству,
и танцам,
а по правде: тать;
да и как украсть
не попытаться,
если попытать
деву-недотрогу сделать дамой.
Распалив камин,
распалясь, но и расслабься,
дома,
так удобно
вставить клин.

8. Пожирание мамонта

Ешь хобот у носа —
как будто креветку хрупаешь.
Выше — омар.

Сто улиток в ушах.
Бок, пожалуй, гигантским бараном
в целом отдаст.
А крестец — это «нечто»!
Кровь. Кровь. Кровь.
Бивни — пики, а кости — балки,
и шкуру — на крышу.
Смерть, конечно, строитель.
Но:
худо ли, бедно ли, — можно так жить...
Юшку сбраживать, пить,
в ритмы бабахать,
в — тазы,
в — челюстя,
в — черепахи,
в свои же,
свои черепа,
напролом,
наконец.

9. Ночные бабочки

Язык молящегося — языку подобен
свечного пламени в ночи.
А пламя — темени, —
над ними нимб и обод
светают, видимы почти.

Особенно когда комками
(тьмы — в свет)
швыряет оборотень зла, —
куски цветут: пыльцою, мотыльками,
помадою; несть им числа.

Вернее, легион: им — имя.
И каждый порх (и верх,
и низ) у них пригож.

За полумаск-ами, срывани-ями
толсто-напудренное личико найдешь.

И — мушку на щеке. У рта в углу, у губ...
На шее... Há — бери!
Какого берберийского суккуба
она бы выказала у себя внутри.
Но — нет у ней нутра: лишь трепет.
Лишь — взгляд.
Фитиль молящегося
 только ее и теплит
срывающийся чад.

И только тьмы нутро
 черно и красно,
и слаще грязи нет.
Как смерто-жизнь, заглатыванье глаза
чужими веками:
 вклю-вы-ключает свет,

что гаснет, пыхая чуть-чуть во чреве
у черной радуги;
 в плотской лощине...
А толсто-шевелиющиеся черви —
в конце концов,
 ее красы
 лярво-личины.

О, ради тех зрачков,
 их иглового мига, —
все до хребта: свой хрящ и костный тук
 скормить,
 сложить с себя
 родного Эго: иго.
Самопотухнуть: — Фук!

10. Метафизический зверь

Ты, скажем, погружен
 в стихи Саади.
Или в молитвы словеса златые...
Но, готовый прокусить тебе затылок,
он дышит сзади.
Не оборачивайся.
 Не то: он взял!..
Ты сам его растишь из собственного страха:
он крыса: а вот уже и росомаха;
вот — саблезубый завр.
И: хруп и хруст грызистой хорды...
— А клаци челюстей?
 А скрип кольчужных мышц?
И — сердце бедное, какмышь,
не пик — не ёк —
 забившееся в аорты...
...Особенно когда безумие,
 как Обь
без берегов; с глазами бедокура, —
шерстистого (ку-ку!)
 вниз головой лемура, —
что сам же просит перевернуто:
 — Угробь!
— Угробь! В том — доброта того, кто злой...
А ты готовьсь, Мое,
 мое Оно, пока ты
сползаешь в хаос, под откос покато,
ломаю ногти, набитые землей.
Еще вдохнешь воздушного червя,
и он в ноздрях закопошится;
и бронхи выжрет до трухи,
 до ручки копчика
 невидимая мшица:

При том:
ухоротое в ловле
 и поедании мух,
в чёсе,
в дрыхе,
 в глуме похожести
 на голых обросших старух.
Вдруг — из переднего зада
 (который у них для банана)
зырят глаза
 бойким безумьем
 сумасшедшего игромана
(как бы шуткуя-грозя):
нос ли откусит и выплюнет,
 глаз ли пальчиком выймет
 и со всхлипом всосет?
Есть, однако, на остряка
 острия
 остроги,
попадающей в лёт.
Вяжут подранка
 сладо страстно гурманы,
 покуда-пока
стол с отверстием раздвигается,
 где зажимается
 шея зверька
так, чтобы череп гримасничал — над,
 (тело — под).
А глазки — глядят...
Остро вскрывается свод.
Крышкою темя зубчатое снято.
Мозг.
И — взгляд.

Мозг.
Где галактики
свихнутой болью горят.
Соли щепотку — туда...
Перцем припорошить.
Чуть острагону.
Рисовый уксус неплох...
Но, господа,
в соевом соусе
смак восторга
хватает за горло с разгону.
И бамбуковым клювом —
в две щепки —
извилину взяв, не червя
(не червя же),
проследить,
как в зацепе
она изгиляется тщетно,
и — чрево свое насладить:
урчь кишечно-харчевую
и кочевряжью...

12. Грифоны и гибриды

В уме такое копошится (как бы робко),
во чреве черепа прозрачное растет
настойчиво настолько,
что кость, картонная коробка,
хотела б вытряхнуть из-подо лба
живой и жирный «торт».

Пусть даже шлепнется,
а что в нем шевелится
среди извилин — да вылезет на свет:

тварь хищно-жертвенная,
звероптица, —
смесь, какой на свете нет.
К примеру — кисть хвоста,
из кисти — коготь.
Из когтя — разрезной узорный лист.
Что это: причудливый автограф
оставил Иоанн ли? Марк евангелист?

Нет, это Зло прошлось (а не перо)
вдоль крыльев лирных
по золотому ворсу мышц.
Зло — в клещевом захвате
когтей орлиных
и в задних лапах,
где — мощь львиц...

Клюв, геральдически осклабясь,
кажет
аканфа лист — это его язык.
И не понять:
да из чего, да как же
этот зверь возник?

Лев ли познал
(или — имал)
орлицу,
дала ли львица ять ея — орлу?
В кощунстве дано совокупиться
как бы — Добру и Злу!

Чудовищные семенные впрыски, случки,
впадение в секс всего и всех!
Несовместимостей влаганье:
в сущий
тотальный свальный грех.

Рык и прыжок, и взмахи золотые
друг друга кроют,
и — плодят, роят
грехи из греческого, из латыни:
с дельфинами — наяд...

Сирены — от русалки и матроса,
кентаврихи — от конского греха
с наездницей;
сдвоенье с крупом — торса;
и — козлоногие ублюдки пастуха;

антропо-элефант индийский
дикий;
блуд по-египетски:
с собачьей головой
и вздернутой полой тунки.
И — кубистический:
с гитарой молодой...

К тому совсем не плох
славянский грех на шкуре,
чем не одна семья?
Все хороши зело. Но тут не шуры-муры,
когда солдатская жена — свинарка?
Нет — свинья.

Визг...

13. Павлин

Засунулся в лазурный ореол
(как у фотографа;
а сам — рахит, урод),
крик дьявола издал,
змеиной головой повел,
неоново-крылатый
индус, полукреол,
златоцефал,

походкой вора побежал...
И хвост, как ворох ангелов, расцвел.

Многоочитый чудо-изумруд
 (из даже райских руд),
живой сапфировый и жирный лал!
Абсурдный аметист,
от индюка с принцессою метис.
О, самоцветный самохвал!

О, роскошью блеснуть, напялив перья,
все перлы нацепив, и макияж
на рожу кинув,
 первым (первой)
брызнуть спермой
анальной, смешанной с пометом,
 впадая в гордый раж.

В сокровищах ногами рыться,
быть женщиною, наконец,
в сияющих грехах...
 Гляди:
 красавица и крыса, —
крылато-радужная бабочка-бабец.

Но — жилистый под ней
 (в ней)
 соглядатай
диктует барышне волнуяще молчать...
И — уступать:
 — Как ты красив, проклятый!
И пра— на левую натягивать перчатку.

14. Павлин белый

Белее ледников и снега,
белее вечности,
 и — юный, а седой,

брат облака, горы другое Эго
(зато и камушки в зубу его с едой).

Белей еще чего?

— Сказать не научился:

белее мраморно-аллейных совершенств...

И хвост — пучок из бесконечных чисел.

А тело меловое — цифрой 6.

Но вот: неисчислимоглазый веер,

велий

тем, что глаза все спят,

что видит он под каждым белым веком?

— Регаты парусов?

Иль: выблиски Плеяд?

Сон этот — белизна ль,

невинность, что не рв́ана,

не комкана никем, невинность ли?

Или исполненная небытием

нирвана, —

последним опытом земли?

То ль это — белизна в отеле:

туалета,

крахмальной скатерти,

простынных ли прохлад?

Или: в алмазах это

белосеребряный — вокруг себя — оклад?

Всё враз... И плюс — прохладный гений,

иней,

что негда из яйца, проклюнувшись, возрос.

Растает... Потому что —

мнимый,

а сам — гермафродит и альбинос.

15. Феникс

А этот на горе вечерней — вон он:
то не павлин,

скорей тюльпан!

Скорей орел червонный
лучами-драхмами осыпан-осиян...

Весь красно-золотой...

Нет, не орел он.

Иль все-таки орел?

Скорей — кинжал.

С горячим ореолом,
он весь — ожог и жар.

А в крыльях — ароматов сонмы,
словно

меж красных перьев — кориандр,
лаванда, мускус,

и маслá, и смóлы

с кореньями горят.

И ярый, и — один,

совсем один на свете, —

и царствам, и мирам он видит смерть.

Но дважды в столетье

он должен умереть.

Тогда, ширя дряхло:

шире, шире, —

в куда-то из— и сквозь— пускается полет,
до древа Жизни, до его вершины,
где ветвь у Бога он крадет.

И — прочь, былая хворость...

Скорость!

Назад, чтоб за звездой текла звезда,
а в клюве и когтях — священный хворост
для брачного гнезда.

На плоскогорьях Аравийских
благоуханные с себя слагая бремена,
он из кремня выклеывает искру,
и веет, и растит ее, и всходит на-

Невесту с языком дразнящим,
саламандру
берет и топчет; пламенем распух
и гибелью набряк, —
но брак их целомудрен.
Не то: не так ли — курицу петух?

Нет. У любви: лишь пыл — мерило...
Не пыл теперь, но пепел... В нем — яйцо.
И — бедами Земли заговорила,
двудне-, двунощная...
А явится — и всё.

16. Свинья

Родина моя, жена, семья, свинья:
ты, всем хором
спой мне сладостное хрю-хрю.
Весь вместе — наш именитый кворум.
Вот я местоимение и говорю:

Мы — меня приспали с тяткой ли,
с дядькой,
а могли б титькой
заспать, как сына меньшого, и вообще.
Я бы и сам себя без остатка...
но ты-тко:
схавала, и — кого? — хлебателя твоих щей!..

Помойно-питательных, тошно-теплых...
— А: что? А — какие есть!

Распуститься в расхлябанных толпах
и — пить; спать; есть.

Хлевно, а зато не хуже,
чем на арфе благородный аккорд,
ей-ей,
даже лучше нахально лежать в луже
обжитой и по-родному своей!

Вылезем — грязными нас полюбите,
а чистенькими — полюбит всяк.
Развелись тут разные —
быть, не быть ли? —
принципиальные, с призраками на васях.

А мы любим выпить, пожрать
и это тоже,
и кому каких еще царств?
Шилом ахнешь в подмыш-,
во вздошье,
а кровь вытряхнешь комками в таз.

Теплую еще тушу-кучу,
что валяется в темной
от пота пыли,
за под-лодыжки подвесишь на крючья,
и — паяльной лампой пали!..

После — крутым кипятком ошпаришь,
и щетину легко скоблить...
— Извини меня, но она — и товарищ,
и причуд моих чревная сыть.

Тем интереснее с ней старанье
познать ее (плоть это суть):
связывая себя со свиньей астрально,
от самоговерху-низа
пузо ее полоснуть.

Видишь розово-живое на срезе
и брыжеек лопающийся перепут;
желчь осторожно изъять,
а потом уже сердце.
И — кишечника душный спрут...

Брезгливо вырвать и выкинуть
гениталии
и
зародыша в жидкостном пузыре, —
то, что девы юные в юности нагнетали
в виде чувствительном,
при лунной заре.

Здесь — настоящее: бьющие в ноздри
скользкие потроха и мозги.
В них когда-то горели
обида-занозы.
В дохлых уже не видно ни зги.

И если даже дальше разденешь мясо,
под ним только череп и пустой каркас...
Возлелеем же смерть как жену
(гримаса):
— Да буди прорва твоя
по мне как раз!

17. Собственное тело

Ты — это я; но ты и тоже — скот:
от лени в крестце
лишь убыль, убыть...
Казнь — из тебя единственный исход,
но палачом я не могу быть!

Я бью тебя, но больно мне.
— Ударь, ударь, ударь!
Ударь!

Ты, тело, — всё же я, но мы не заодно.
Зачем я горнего взыскую,
когда ты похотью и страхом сведено,
и тухнет пыл моей молитвы —
вскую?

Ты рвешься с привязи,
ты лязгаешь, рычишь,
болеешь блажью, жаром, голодом,
чумою, чирьями и выпаденьем грыж...
А если в здравии —
так дышит дух на ладан!

Но до того, как: «ложись и умирай»,
где место для
мускулистого скелета?
Конечно же, ни — Ад, ни — Рай...
А вот оно —
зверинец, клетка!

18. Заклятие зверей

Нишкни (поникни и заткнись)!
Тварь, зверь к ноге.
Знай место.
Чур, вычур, перечур...
И — через низ.
Не смей казать оскал и ерзать мерзко.

Не то: во мне возгневится Адам,
и — вот я вас — в ничто разыменую;
слога по буквам, слово по слогам,
и — в паузу, (зия-),
и — в яму земляную.

СТИГМАТЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Игорю Тюльпанову

Порожний череп в чей-то след
здесь, у подножия, повержен.
И пёстрый ультрафиолет
В зубцах пронзительных воздет.
И — свет! И прозревают вежды...

Да, на былых зияньях, прежде
сиявших, я поставил зет.
И вот зияющие бреши
сомкнулись. И меня приведший
путь восстаёт — иного нет.

Сюда, в таинственные грозди
Стопы благой! Но взгляд, но жест
разводит лучевые кости
в какой-то известковой злости
всей тяжестью несовершенств

земного зренья; перья, шерсть,
прозрачные тычки и остья
снуют, реснитчатые, чрез
лучистых линий — их не счесть —
и — в Язвину — ворсисы, остры...

От полузнания — вдвойне
гвоздится Модус новой жизни
в воронке узкой, там, на дне
во мне и — запредельно — вне,
полубезумием пронизан.

О, как язык и лжив, и низмен!
Он кажется врага древней
с того, что радугой на призме
дробит Глагол единый, присный
на тучу флексий, тьму корней.

Дней череда у нас лоскутна.
Но стрелкой по шкале времен,
нетронута и целокупна,
скользит сейчас всё та секунда
в разрез мучительный, в изъян.

Сюда, сюда, в пропятья ран,
непотопляемое судно!
Миг настоящий, осиян,
в простёртый на крест океан
один вливает неподсудно.

Быв абсолютно лют и дик,
зане все хрящики заныли
у Тела вечного, он вник
в катастрофический родник
его прозорами сквозными.

В него сегодняшнее «ныне»
нулю равновеликий миг
вживил, и в виде голубине
оттуда тайные глубины
исторгнули структурный сдвиг.

И — новизна без дна, без края!
Кровь зоркая и не моя,
как остро-огненная стая,
мои сосуды вдоль пронзая,
проносится, меня кроя.

И — до окраин бытия,
всё заново созиждевая!
Дерзаю мыслить: это я,
вон там, где мчится вдаль сия
частица умная, живая.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Михаилу Шварцману

В центре мыслимой фасоли
есть зачаток-светлячок,
что, разъединяя доли,
метит в теменной зрачок.

Там, едва ли не жестоко,
ибо жесток и колюч,
стигму внутреннего ока
жалом ужасает луч.

(Но что в тонкую фасетку
внидет только вертикаль,
знают ведатели — все, кто
возрастил её, — не я ль?)
И стремится душа любая
разум, дабы круче вник,
головные разнимая
вспышки, — в световой тайник.

Этот путь — туда — единствен.
Но едва по нём скользнул, —
он уже, двоясь, глядится
на себя сквозь полый нуль.

И, оптическому зрению
перекрещивая пласт,
иллюзорно блещет зернью
наверх потаенный лаз.

(Там, за гранью разуменья,
смысл двоения — лучись!,
и сражает ум замена
единицы — тьмою числ.)

И — в цифирь, сквозь недра мгlistых
полувысохших рацей
лезет умственный трилистник
сразу в тройственную цель.

На пустых толщинах мира
фокусируется знак:
ключ симметрии, мерило, —
перекрещиванье влаг.

Главное — в зеркальных безднах
двойка рыб — червя ли? — ест,
или — две Стопы небесных,
чтобы смерть избыть — на крест,

на разогнутый трезубец
грозной Пасхою взошли,
Имя — Сами образуя:
Ихтис — или Сын Или,

Элои... И вот — расплывы
ветхой жидкости — отверз —
вестью — водопад счастливый.
В дряхлый

о
т
уровень
е
с

почкою живой привился.
И — трикрат единый — Взгляд
равно, распиная выси,
плоскую спасает гладь.

Будет ли тогда — напрасна, —
если столь любовна — боль:
трагедийностью пространства
полнится объем любой!

Вглубь себя — безмерна — точка!
Сквозь малейшую из них
в хаосе, в черевной толще
крест — лучением — возник.

И, — челом — чуть вправо, книзу, —
в каждом сходе двух осей

п
о
жизнь
н
а
н
и
е
м

казнится
всюду, в явленности всей.

Глянешь, и сейчас — два бруса,
усиляя крепь и связь,
серединами — упрутся,
там, в невяном, коренясь.

Первый саженец — запретной
блзани — разметал пупы, —
райской сплетни непролазной —
и — на гвоздь — приял Стопы.

(Стыдного земного знанья
в том и опыты, что несть
наигоршего за нами,
чем терзать живую десть

Истины). Кистей, Предплечий
страшные плоды висят
на втором из поперечий,
Отчий восполняя сад.

Между бесов бесприметных
мы, спасаемые Им,
эти снадобья от смерти
и приимем, и ядим.

И нацелен — в злое семя —
остро — в самую несуть
с верными Своими всеми
мировое поразить

яблоко, и всю отраву —
Меч — почти по рукоять!,
образуя знак — Державу,
Церковь или букву Ять.

Жуть, но — нет пути иного:
мы, чтоб смысл явился нам,
чтением уязвляем Слово,
по рыдающим слогам

постигая Стратотерпца...
Мы! — казним под крик «распни!»

Л К
И
ДЕСНИЦУ ШУЙЦУ
Е
Х Ц
Д
Р
Е
С А
М
С
П
А
С
И
Т
Е
Л
Я
У
Т П
С Н
И.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сердцу Галины Рубинштейн

ЛОГОС ГЛАГОЛА БЛАГОГО
ЕМЛЕТ ЕДИНОЙ ГЛАВОЙ,
ПЛАЗМЕННО ПЛАВАЯ, — СЛОВО

ВОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ВОЛЬ
СДВОЕННОСТЬ — В УСИЮ СВЕТА
СВОДИТ ПЕВУЧАЯ БОЛЬ.

ВЗОРУ БЕЗМЕРНОМУ — ЭТО
МУЗЫКИ МУСКУЛ И КЛЮЧ.
СВЯТА ОНА, НО НЕ СПЕТА.

Только струением с круч,
ясен, звучит осиянно
дикий строительный Луч,

и — океанна осанна.
Но в перерыве рулад
паузой в музыке — Рана,

струнный разорванный лад,
равноразмерная миру
Язва зияний. Стигмат.

Дабы вонзённу и сиру
миру не стыть копиём,
вогнанным в Ребра к НАДИРУ

ВЕЧНОСТИ — через разъем
юная первоминута
прядает с ним в пра-объем.

Спектрами Света — из круто
свёрнутых в точку пространств —
Воду и Кровь АБСОЛЮТА

гонит крутизнами трасс —
вниз — рассечённое справа —
СЕРДЦЕ — с разрывами масс;

и — что ни музыка — лава, —
Слово, расплавясь, поет,
бьёт вулканически: — Слава!

Странен межреберный Рот,
свят, как раскрытая рака;
протуберанцевый свод

в нем пламенеет; однако
тронут изверженный цвет
некой толикою мрака.

Будучи остро задет,
СВЕТ в перепаде жестоком
нижних пределов и сред,

траченных мутным пороком, —
ими ломимый, — расцвёл,
выкресав жизнь ненароком.

Скопом коснеющих зол
скованный, стянутый порчей,
но — обнадеженный! — дол

так и взлетел бы из почвы,
и — в НЕОТМИРНЫЙ РОДНИК —
горлышком, клеверной почкой,

каждой бы клеткой проник...
Все же — не цельны, не твёрды
младшие. Цель не про них.

Только разумные орды,
люди без лица, без конца,
могут сквозь Солнце — в АОРТЫ, —

как кровяные тельца, —
в ТЕЛО вселенское влиться.
В ГРУДЬ ДЕМИУРГА. В ТВОРЦА.

Но притязанья провинций
есть необрезанный плод.
Ведь по завету провидца

богоизбранный народ
преуготовлен заранее
землям, где млеко и мёд.

Изгнанный, был он изранен...
И до свершения лет
взял безоглядно Израиль

груз непостижных диет...
Сложность препонов закона...
Грозный субботний запрет...

Дабы растить неуклонно,
пестуя истинный ген,
от Авраамова лона

праведных сорок колен...
И — результат не заметить:
Девы, что тлену взамен

Спаса нам даст. — Разумейте! —
гулит в благом естестве
вся искресаяй от смерти

ДУХ СОВЕРШЕННОЙ ЛЮБВЕ.
Жарые, мурые вести!
Разом обвенчаны две —

Дева и Церковь — невесты.
С ними — одно, и от них
вочеловечась на месте,

Сердце Галактик, Жених
в наспех застеленных яслях
дремлет, и ясен, и тих.

Он ли, вися на запястьях
в координатных осях,
с миром пространств сораспялся,

во временах воссияв?
Он — в сердяные каменья
Пульсом Своим! Вся сия

сумма сердец, ойкумена,
плачет, но — мимо плывет,
как ледяная каменя.

Ниже; виток; разворот:
город святой, где прогоркла
святость, и тот же народ

слепо сверлит у пригорка
бельмами зоркий зенит;
дважды облыжно — прегорько! —

мнит: самозванца казнит...
Волей Своею раскрылись
крыльями руки абсид

храмовых; выдохнул клирос
воплъ ЭЛОИ и ЛАМА
САВАХФАНИ! СОВЕРШИЛОСЬ...

Сердь, разгораясь, Сама
режет двуребрие входа.
И — в закомар, в закрома

в легкие вводится хорда.
Остро ползет копие
в Дискос, где Солнцем — АОРТА.

В Чашу лиясь из неё,
полнит весь мир милованьем
страшное наше питьё.

Сим водосвятом мы с вами,
дабы выкрещивать дух,
грех вещества вымываем, —

самое семя разрух.
Вечная с временной кровью
третью являет из двух —

новую, богосыновью.
Всею полнотою естества,
на зло и зло-, и лже-словью,

мы, воплощаясь в слова,
СЛОВОМ ЕДИНЫМ РАДЕЕМ,
чтоб из оков вещества

выпал заплаканный демон.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Якову Виньковецкому

Да. Куда ни кину взгляд, —
твой абстракт, ладонь моя ли, —
как бы наплывает слайд:
всюду на пластах реалий —
дали, дали...

Или же, в любви о нас,
так серебряно-сиренев
мир, что сам раскрыт, как глаз,
или в нас бушует зренье
в озареньи.

Но с возгория Земли
видимый надрез эфира
мучится, рябит вдали:
ранена тепло и сыро
в нем просвира.

Мыслию — миры и лбы
творчая Рука все та же

крестит. Се одна Любы,
выраженная пусть даже
и в пейзаже.

Слово, помрачаясь в луч,
замедляется до тканей.
Выткан и почти текуч,
точит свет и протыкает
чёрствый камень.

Быстроту сводя на нет,
нить в Десницу студенится.
И плотнеет на просвет
загустевшая денница
вся до низа!

И телесная звезда
испускает понемногу
ломоту лучей туда,
по припухлу и отлогу,
по отрогу...

Глянцево болит бугор.
Путь обласкивает справа
весь приплюснутый упор
гор — дабы небес держава
дол прижала.

Освещается тропа
в Кисти выпуклостью склона.
С говорящего снопа
зернь чернеет, изумлённа,
миллионно.

Нами, быстрыми, жива,
страждет медленная глина,
чтобы злобы естества
общая для всех долина
утолила.

Ради пущих, вящих форм
жертвы требуют полова.
На восхолмии втором,
влажно-роковом, готова
казнь для Слова.

Лоснится, горьмя кричит, —
мол, почто Меня оставил, —
содвигаема с орбит
вопиющими пластами
Длань — в суставе.

Хочет почвенная персть
скопищем несметноликим
вывести — из Горсти — весть, —
в прободеньи Слова — криком,
в зле великом.

А за сим глухим грехом
радужно горит правее
выхолмок, счастливый холм
погребённых, верой вельей
тихо вея.

И, умом пришед к земле,
(лбом умащенным елеем), —
мы и в наигоршем зле
благо пригоршнями емлем
слабым землям.

Чтобы их глубинный сбой,
их протянутость, сиротство
в смерти укрепить собой;
и, путём зерна и роста,
в них бороться.

И еще больней — туда —
от могильного ристанья
и загробного труда —
глубже — в Руце Божьей — тайна
прорастанья.

Но еще гноится тьма.
Лишь глазки, гнилушки денег
в яме бывшего холма
светятся. (Один скудельник
рад-раденек.)

Все же, закругляясь, вид
долгим разворотом ската
фосфорически блестит,
но и накрён куда-то
вбок покато,

где, струясь горе из гущ,
как бы мимо тяготенья
бьёт поток, живящ и жгуч;
топит он фантомы, тени
залетейны.

И сорвавшись за край,
яркой мукой окаймленно,

он лиёт, играяй, в Грааль,
в грань лазурного излома
окоёма.

Аз через Него приях
с Кровию, меня умчавшей,
самый настоящий страх:
вправе ли стоять у Чаши
я же, я же!

Яша, я прошу тебя
здесь, в виду пропятой Пясти
друга помянуть, любя,
чтобы мне к иным напастям
в блазнь не впасть бы.

Жутко за такой предел
вывести свой центр витальный!
Дух — среди небесных тел...
Это ли — святые дали,
пустота ли?

Трепеты миров! Но здесь,
если хода нет обратно,
тонкая опасность есть:
умственная боль у брата —
вот расплата.

Как тут совместить, ответь
как христианин-художник:
бьюсь о неземную твердь,
сердце же кому не должно
дал в ладоши.

Эта — окаянна грудь.
В ней, с твоим не одинаков,
грешен, бороздится путь ...
Помоги, прошу, восплавав,
другу, Яков!

Яков!!

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Раненному имени

Я женская сказала Мне мужскому:
— Я сладостную полюбил Меня.
В совсем одно был переход рискован.

Но, от раскола — скрепа и броня,
в двойном единстве Нечто Третье всплыло.
Так мы решились перейти на-Я.

Неявная, но неземная сила,
похоже, Нас взяла наизготовь,
и Я просили, или Мы просила:

Мысль милая, восславь, восславословь
Себя о Нас и, как бы беспристрастно,
любимой к любящему полюби любовь!

— Вот чудо, Я не знал, как Я прекрасна!
— Не знала Я, что Я не одинок...
Мы внутрь себя выходим за пространство!

В парении блаженный кувырок!

И вал небесный, и волна земная...
И ученик с учителем — в урок,

и Мы в Меня, и Я в Себя за Нами
сомовкликаем в пение пучин.
И — в грозное ядро, в зеницу знания,

где всяк есть все, и Я неотличим
от Моего Меня же — Мне другому.
Туда, в опережение причин!

Смысл молнии не выгрохотать грому.
Но в судорогах свято-световых
она и узрит весть яркоогромну.

Здесь перегиб сознания на свих
с лихвой окуплен целокупным Словом:
сквозь Нас двоих, и — в Нас троих Твоих.

Сыновня Ты выросла с Тобой Отцовым.
И, сладостно любя Тебя Твою,

Ты
ы с
т т
а ы
р к
к о
и в
р а
т и с л и ц о в а н . н

Лицо и Лик смешались в том краю,
где Творчий Дух был нами вдохнут негда,
и до сих пор Мы пьем: Ты пьешь: Я пью,

и Нас впивает непомерный Некто.
Веками изумлённая руда
на это вытарашивает недра.

Се:		1
Всё	Во	2 _____ 3
Давидова	Звезда	5 _____ 6
Всём		4

Животворит Звезда Сия, сияя
Сама Собою из Себя сюда.

И в Твоего Меня, в Мою Себя Я
впускаю веселящий Свето-Дух...
Но сердце делит Он по кромке спая...

С любимым сердцем... И разлуке вдруг
Предстали Оба, леденясь и млея...
Победа Трёх далась бедою Двух!

Мысль кровная, Кормящая Идея,
у любящих возьми взаимоболь, —
таинственную муку единенья, —

возьми в себя и утоли Сбой.
Сознанием в Твой Такой Венец не вжиться,
но гнётся мысль и смаргивает сбой.

И лишь немного Истины из лжицы
душа родная, ужасаясь, ест.
И превышает меры и границы

р
а
страданье
о
с
т
и
.

Боль счастья.

КРЕСТ.

О твердь, о смерть бьёт Отчее Кресало,
чтоб Тихоогненный ХРИСТОС ВОСКРЕС.

В мозгу гнездится молния-красава,
и в судорогах, в срывах световых
завязывает буквицу кроваво.

И — выкриком на — И исходит вихрь,
вникая дико в раздиранье Слога,
и — равно — внутрь, в Голеностопный сдвиг,

вниз в Первозвук Именованья Бога!
Весь клир местоимений к Нам прильнул —
сейчас о Нас расплущится дорога!

И — жизнью — дрызнь! Но — взвизгивает Нуль,
и лопается монолит великий!
И — ввысь, не поворачивая руль.

В грозу — насквозь! И — лебеди, и — клики!
Терзаемое И с воскресшим И
сливаются в Одно. Единолики.

В сказуемых Перстах — молю — сожми
и оглаголь, — не яко гвоздь, но глину...
Вдохни Себя уже не в персть земли,

но в чуткую твою Всеполовину.
Расплавлюсь пеньем. Кровью в Кровь вольюсь!
И знак и признак умственно содвину.

Твой Каждый Звук есть Рана и Союз,
и мёд, и яд, одним гудящий ульем!
Связует Эс с Собой свободой уз,

У втягивает душу поцелуем
надрезанного сердца. В Сердце вник,
биением Любви Его милуем,

на Божью Грудь возлегший Ученик,
Он слово пишет Буквами Благими,
но Мир не благ и не вмещает Книг.

Лишь становясь неисчислимо Ими,
вздымая титлы шевеленьем уст,
чуть справа, снизу Мы читаем ИМЯ,

чтим раненное ИМЯ

.С С

У

И И

Петроградская сторона, авг. 1977

АНГЕЛЫ И СИЛЫ

1. Тихая молитва

Ангеле Божий, Хранителю мой,
братик небесный в нелюбе земной!

Наших нежнейше-неслышных бесед
на языках человеческих нет.

Слух ни глагола не выловит. Лишь
духу звучит эта теплая тишь.

Что это: зов? Или весть? Или знак?
Что-то... А сердце оттукнется: — Так!

Братик! Самой неразрывью своей
что-нибудь сделай и мраки отвей.

Вот я, и вот они все потроха
Божьего грешника и батрака.

Что я могу? Только душу — по шву...
Как получился, таким и живу:

крепкий, работал, и, слабый, грешил,
разве что дар не менял на гроши.

Выпрями, ежели можешь, состав.
И в обстоянии не оставь.

2. Евангелист Иоанн

Это Слово снесла орлица
в руки апостола Иоанна,—
а как бы еще ему окрылиться
истово и благовествованно?

Порхнуло, прошелестело по свету;
шепотом даже лучше слышно:

а что, ежели любовь — это
изумление красотой ближних?

Выплывание образа: либо Мариина,
либо лика Учителя — в них,
не оставленных без руля и мерила...
Клёкотно говорит ученик.

3. Архангел Гавриил

Бог победит (в тебе!) —
 глаголет Гавриил —
(или — тебя?). Он сам: пред — это слово.
Он весь — и весть, и суть. И узел сил
узилища телесного, земного.

Начало дел. Зародыш речевой,
летающий титлом
 лечь на чистую страницу.
Из дуновенья дня, из ничего,
глядишь, и Слово само-сотворится.

До ветхости мир исписался весь.
Пора не спать, пророки были правы,
но действовать, спасти,
 отдав себя на месть
само-губителей, спасателей Вараввы.

И вывращивать время, чтобы где ж? —
здесь, на земле, в любые дни и лета
впорхнуть победой Божией в допрежь
тетрадь нетронутую
 Нового Завета.

4. Илья пророк

Львиные грозы...

О, Илие!

О, пророче, мы с небом — не розны.

Всё ли мы на земле?

Или, гулко гуляя:

— Купол,— позвал,— громозди

для храмного Рая.

Раструб звуку пророй из груди!

Небо выстрой

и Новое Небо скажи:

громобыстры-

е яруссы ярой радости и этажи

гордых облак.

О, Илие!

Труд небесный — творительный отдых

для работ на земле.

Но возьемлю

тягло любого труда:

огалилеим ее аллилуйей

и Наинovejшую Землю

все населим тогда.

5. Архангел Михаил

— Кто, как Бог? — Светлый выкрик —

это и есть Михаил.

Ангелу гордому, горькому

он себя возгласил.

— Ты, увы, Совершенного Сердца
пропята рана, изъян.
Гневной любовью к отступнику
Михаил осиян.

Меч — Любовь его, Верность —
броня безущербная, щит.
Слава — яркий шелом,
корпус Верой кольчужно покрыт.

На крутых нараменниках —
крылья горние Сил.
Кто, как Бог? — Этот светлый упрек —
он и есть Михаил,

что себя же и выкрикнул
мировому предлогу, Врагу.
Вымыть капельку яда из «Я»
я, и жизнь переплыв, не смогу.

6. Умная молитва

ГОСПОДИ!
Отведи меня здесь от растравы и роспади,
ГОСПОДИ ИИСУСЕ!
Все-то зрящий во всех, —
как ты горшим, душа, ни рисуйся,

грех возъемлющий Мира,
за всех, за меня на кресте
в костном хрусте висишь,
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ!

Вместо меня... Но и вместе со мной:
сколько спину ни горбь,

выпрямительна, видите ль, казнь,
очистительна скорбь.

Вдышана в меня душа на всю жизнь,
да, но не больше,
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,
СЫНЕ БОЖИЙ.

Эту смесь как разделишь:
меня и со мной же —
горчично и гречнево?
ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ,
СЫНЕ БОЖИЙ,
ПОМИЛУЙ МЯ, ГРЕШНОГО!

7. Сожествие во Ад

Мир — это весть. Но весь
иссяк и вытек смысл из букв тощих...
Путь — луза мрачная — куда? Невесть.
А истина — в кровавых многоточьях.

И не сложилась жизнь.

Ее Хозяин и источник
громадно выдохнул себя чрез толщи —
заматерелые — материальной лжи.

И тут — расселся грунт.
Ткань лопнула, натянута на тябла
в соседней храмине, враспах и вдруг.
Ткни, и — насквозь: так вещество ослабло.

Когда изъята ось,
какая верть и твердь — не дрябла?

Обручено безлюбо, безобрядно,
пространство с временем в три дневи разошлось.

И рухнул Бог и Дух.

Лишь крохотный, лишь болевой росточек
под плащаницею на Сердце вспух...
Так началась работа этой ночи:
сошествие во Ад.

В ту пазуху (быть может: точку),
где вход в Ничто, что болью был проточен,
и ужасом заляпан и объят.

Туда, в голодный нуль,
в заглот, за житом бывше-человечьим —
нас, гиблых, ради — Он Себя вомкнул,
а нам утраты и оплакать нечем:

всерьез бесслезносерд
весь этот свет. А тот — сердечен?
— Удавкою времян обесконечен,
в мешке пространства коротает смерть.

Да как же смерть — терпеть?!

Всею верой, всем соборно-главым телом
в Страстную эту Пятницу, теперь
вцепиться в Бога — вот что можно сделать!

С колоколами — в сплав!

Мы — храмовый народ, ему подмога,—
из наших пульсов, пущенных стремглав,
из кровавых телец восклеим Бога.

Исчезнем вольно в Нем.
Рискнем ничем — воздастся много...

Ведь Он и мертвый: весь о нас тревога;
в трудах о нас и в смерти он живьем.

Ужо — узнаем там,
в том свином тупике, мясном забое,
где дальше мрет всечеловечий хлам,
где стон и визг, и скрежеты зубовны,—

что мироздания срам —
весь — упразднен и обезболен,
благоразумный вознесен разбойник
с Христом — туда — в Пасхальный Первохрам...

— И ты — домой, Адам!

Милуоки, 1981, 1984–85

ПРОПИСИ

«Мрак то бархатен, то лаков», —
нежная, уже видна
не строка и не жена
фразою из полужнаков,

полуотсветов; она
яснится, двоясь. Однако
с бликом облик одинаков,
явленная нам — одна.

(Заново, того не зная,
мысль мою вочла в себя
чуткая, совсем ничья,
умница, красавка злая —

чудом.) И при чем тут я!
(Разве что, высвобождая,
я ее отъял от края
радужного бытия.)

Вылистнула здесь, расклята,
райская страница две
прописи: «Люби и верь».
Выкатила в жизнь покато

яблочной ланитой весть
(Божия, ей-ей, цитата).
Ведайте ее, читайте
замысел певучий весь!

В прорези никак не взглянет —
вскользь или в уклон слегка;
только в уголку белка
дико ослепляет глянец.

Тень, зубчато-глубока,
тонет в нем и, с ним играясь,
гладями туманит грани...
Жарок оком зрачка.

Вечное с минутным обок
(«верить и любить») легло,
окороновав чело
венчиком кавык и скобок...

(Видимо, сперва сошло
яркое перо от облак:
лунно-перламутров облик,
вписанный затем в гало.)

И — во взгляде — взгляд! И сполох
тихо полыхнул впотьмах,
выблеснул во всех углах
глаз — полудуховный порох.

И, что от листа враспах
тянется — туда — к воспорху

пташию, в воронках полых
буков отряхая прах, —

вымахал прозрачный взмах, —
пусть и не в самих глаголах —
метой ногтевой на голых,
белых и живых полях.

Петроградская сторона, январь 1978

ПЕРО И КИСТЬ

Возьми щепоть от Бога и тогда-то
в честном овале в черепном яйце
напечатлеешь, осолишь лице
и крест на нём проступит брусковато,

как бы ни миловиден был раскрой.
Но — чуть — и троеперстие разъято.
Меж двух — уже зиянье (гиата):
Отсыновлён от большего второй,

А среднему они опорой оба.
Орудие художества, пароль
Ещё не выбрав: кисть или перо,
Тому свершилась перьевая проба...

И чем иным бы выписалась кисть,
Когда б не геральдически-особо
(и только ли, как водится, до гроба?)
они перекрестились и сошлись!

Здесь дружная спружинила интрига,
И цветовой удар ввергает в криз:
По склону промуравленному вниз
Упруго кувыркающийся тигр.

И пиршество среди густых куртин,
где неподвижно безуханны игры
тюльпанов огнецветных! Это — Игорь
Тюльпанов у распахнутых картин.

Предметов благодарственные очи
Горят повсюду. Всё же он один
Средь замыслов, слуга и господин,
Слуга и господин своих отточий...

Один, — на сходе выверенных тайн, —
казнит и красит миг живой, проточный...
В подробностях древоточащей порчи
Умильно просит каждая деталь

У кисти: Будь и в прочем — быстротечной!
Выпаливая в лёт павлиньих стай,
стань пристальной, поди пересчитай
свинцовые зазубрины картечин.

В напластованья отрешённых глаз,
В с атласом перламутровые встречи
впиши отливы, тем хмельней и терпче,
что синева по золоту прошлась.

Но там, где цвет идёт на свет, на трепет,
пожалуй, даже кисть даёт отказ...
И только зоркое перо, кружась,
жизнь самоё на тех полях затеплит.

Тепло касаясь, пузырьковый мыс
листу на загрунтованные степи
сквозь лона перепонки в полом стебле
передает, предписывает мысль.

Навершие парит, себе наведши
и плоское вперья око ввысь.

Здесь, как ни изумрудно изумись,
древнейшее становится новейшим,

расплывчато-лазоревым. Но пусть
любой из нас заплакан и не вечен.
Живём не мы, — немые наши вещи
Вбирают хищно опыт, вкус и пульс.

А чудо ангелического слога
и радужные звуки свежих уст,
и самобытие мазка, боюсь,
даются только за чертой итога.

.....

Но этот минус перекрестят в плюс
перо и кисть щепоткою от Бога.

*Петроградская сторона,
февраль 1978.*

ЗЕРКАЛЬНО

Вдруг — двух из мимоходных толп
как будто заарканит,
и — вправо парный шаг, и — стоп! —
и влево, и фронтально в лоб,
и оба — столь зеркальны!

Мимически двоится миг
здесь, на развязке улиц,
и — паника: да кто ж из них
есть подлинник и кто — двойник?
— Но — сдвиг — и разминулись...

Ну, и... Нет, как я только мог!
Те — стакнулись... И — что же?
Им не уйти из этих строк,
и даже так: на то намек
да будет уничтожен!

Прыжок другого — в друга: пли!
Двойник в оригинала
летит; и вот уже сожгли
попятности и корабли,
и все им пресно, мало...

Игра? Но — на краю... Каюк
в лицо лизнул и снится;
и леденеет грудь; и вдруг,
перешагнувши перепуг,
идет близнец к близнице.

И — блещет мгла! Цветет и пьет,
и губит губы англо-
язычный и залетный рот,
и ангельски, и, нет, взаглот
целует долго, нагло...

А между тем и клят и крут,
не быв помянут к ночи,
их обстоятельств перепут...
Но зодиак в них текут
сквозь мозг и позвоночник!

О братья рук! И рыбы ног
в бурунах дельной лени!
Им — годен юг. А тем — восток,
где в головах и между строк —
дух единений, гений,

чей лик впечатан до конца —
лицо лица — в их лица.
Но оба — обликом — в Отца!
Резвятся львятами сердца:
— Терзай, любя, сестрица...

Петроградская сторона, август 1978

ДЕРЖИСЬ МЕНЯ

Пока молчат разрытые глубины,
я дам слова, а ты, что прореку,
все повтори за мной: «Ты мой любимый.
Я — кровь твоя. Сквозь сердце я теку.

Я омываю дни твои и мысли.
И там, где недра дыбятся, как высь,
где в ядрах мрака ярый свет явился,
там жизни наши до смерти срослись».

Свои слова твоими я услышу,
и в этой отзеркаленной любви
я сам скажу: «Твой — с погребя по крышу.
Куда еще идти? Во мне живи.

Не подрывай, крепи живую крепость,
покуда вместе нас не загребет
зазубренным ковшом — в загробный эпос.
Держись меня. Я — череп и хребет».

Петроградская сторона 1978

ПИСЬМО

Мама, пишет тебе твой сын,
глядя на родину окном ночлега,
не от родины ли уплыв один
с борта Таврического ковчега.

У меня бесхлебная всюду хлябь,
и пируют за столом буруны.
Твой же корабль смастерён на-ять,
яблоками набиты трюмы.

Ежели не в книгу — в прибрежный гнейс
не строкой — собою мне впечататься завтра;
в сыне твоём, вероятно, есть
что-то от человекозавра.

Ящера выбраковал Господь,
ты же — я верую — поймёшь, дорогая,
что пусть отломленный я ломоть,
но — от доброго каравая!

Комната на Невском
1972

БРАТУ

Вместе с кистью на картон
тень накладывают ветви,
и весь день меняет тон
цвет в качающемся свете.

Знаю: законный сад
любит труд подправить сзади.
Тут же, двадцать лет назад,
лазал он в мои тетради.

Сколько на листах замет
сад наставил птичек, точек,
крестиков! За столько лет —
сколько вычеркнутых строчек!

Помню: свет летит сквозь сит,
и пересечение истин
совершенствами грозит,
словно каждый вид — единствен...

Но ежевечерне сад
сотворяет ряд мистерий.
У такого бы, мой брат,
мастера быть подмастерьем!

Милуоки, Висконсин
1980

ВОЗВРАТ

Рахманинов играл, Шаляпин пел.
Какие титанические люди!
— За милых дам! За мира передел!
И голова Крестителя на блюде.

Немая мысль не шевелила уст,
лишь поднимала пепельное веко:
о явной смертобойности искусств,
о Зле и о явленьи человека.

И розовели зори и дела.
Но гибель предреклаась для полумира.
Когда б рябиной родина была,
то у корней лежала бы секира.

Шаляпин пел, Рахманинов играл...
Зачем их не заснял кинематограф, —
раскрытый зев певца во весь экран
и пальцы пианиста, прыть которых

враз искресала радугу из люстр,
за звуками всё зло заиллюзорив.
А бас, а Зороастра-златоуст,
то бархатно-лилов, а то лазорев,

свободно плыл по попраным полям,
где топотно и потно убивали.
Разваленную тяжко пополам,
страну спасёт ли ария? Едва ли.

И где он, горла певчего удел,
где своды, подпирающие небо?..
— Ираклий, шёл бы к чёрту, надоел, —
несётся осязаемо из гроба.

Ах, Франция: увидев, — умереть!
Усталому сладка твоя землица:
как на перине, в ней отрадно преть,
и прах супруги рядом пепелится.

Здесь тиховейно спи наверняка,
знай, тлей себе в могильной тайне, в Бозе,
покойся, забываясь на века.
И что властей? Смертей уже не бойся.

Как бы не так! И вдруг: туда: труба!
— А ну, вставай, проклятьем заклеимённый,
проклятьем славы и клеймом раба,
принадлежи отныне миллионам.

Бери свой прах, но выбрось прах жены.
Ты не воскрес, довольствуйся субботой,
зато ошибки будут прощены.
Работай, труп. А ну, живей работай!

Ты — наш, и не поможет флажолет.
Мы — до скончанья времени. Ты тоже.
Французской пломбой скалится скелет,
а будущее близко и дотошно.

май 85

НАСТАВНИКИ

Нет ни Дара, ни Глеба Семенова...
А мы сами-то, разве мы есть? —
от пасомого стада клеймёного
с вольнодумством отдельная смесь.

Нас учили казённые пастыри:
«Деньги-штрих, деньги-деньги, товар».
Нам же — дай своего: хоть опасного,
но живого, не правдали, Дар?

Вот и глупо мудрели до времени
и боялись; наставники — тож.
Потому что давали не премии,
а по шапке за так, что живёшь.

Мы у Родины матери-мачехи
ни штриха не просили на хлеб.
Ждали русско-еврейские мальчики
к ним доверия, правда ведь, Глеб?

Мы писали по сердцу, по совести
и несли на ладонях в печать
наши ранние песни и повести.
Был по Чехову стоп: — Не пущать!

Вместо статуй Злодея-покойника
я воздвиг бы под звуки фанфар
отставного, в подтяжках, полковника.
Знак эпохи, не правда ли, Дар?

Да, такой (что там голуби-ястребы),
власть имея, кого бы закласть,

не над перьями правит, но явственно
над мальцами пернатыми, всласть.

От него мы за Даром уехали,
бросив замлю на волю судеб,
за немногими слабыми вехами
тех, кто с нею остался, как Глеб.

Боже Правый! До времени Оного
упокой их не в землю, а в стих.
После Дара и Глеба Семёнова
кто там пестует новых, своих?

Милуоки, Висконсин, 1982

ЕФИМУ СЛАВИНСКОМУ

Столько худого хлебнул, а ни-ни:
не вспоминаются черные дни,
а вспоминаются белые ночи,
яркие сумерки, — только они...

Смольный собор в озареньи заочном,
тыльце ладони, студеной на ощупь,
сладкие горести, робкая страсть...
— Тянет обратно?
— Да как-то не очень,

разве когда переменится власть.
— Как бы не так! Ты хоть в петлю залазь —
тупо стоит...
— Но об этом не надо:
наши родные залогом за нас.

А из решетки у Летнего сада
твердые звуки державного лада,
арфоподобные, надо извлечь.
— И не тянись из Не-знаю-где-града,

сытого самоизгнания сиречь.
То и твержу:
— Завела меня речь
с книжкой перевозеленых «Зияний»
слишком неблизко... И — сумка оплечь.

Не получилось пыланий-сияний.
Разве что опыт осядет слоями,
истинно станешь не кем-то — собой.

— А хорошо бы, ребята-славяне,
песнь кривогубую спеть на убой:
«В той степи глухой замерзал ковбой».

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ИМПЕРИИ

1.

Вот он, апокалиптический,
по словам Амальрика,
гибельный гипотетически
для страны-большевика.

Взял у Орвелла провидец,
что в канун под этот год
крах надутых представительств
в прах Советы разнесёт.

Но стоит Гиперборея,
словно туча-монолит,
наливаясь и мрачняя.
А оракул где зарыт?

Пусть бы — путь, но не паденье,
да не сбудется оно.
Сколько бедных душ на деле
с ним покатится на дно!

Да идёт Гиперборея
просветляться на века.
Да проступит Галилея
на лице материка.

Кровь на сиденье и на пол стекла;
в горле — кинжальный осколок стекла.
Много бедняга по тюрьмам терпел,
многого в Мире понять не успел.

2.

Ну как не помянуть Большого брата,
когда его недрёманнейший глаз
влипал в окно с огромного плаката,
на весь фасад, с изнанки зная нас.

Но для тебя, вольняшки и придурка,
рассвет бывал совсем иным чреват:
гремел в окне наружный репродуктор,
в башку вбивая звука мегаватт.

Как в шесть утра: «Проклятьем заклеимённый»
сквозь две подушки на ушах «Вставай!» —

прогаркнет, поневоле к миллионам
таких, как ты, идёшь на Первомай.

А помнишь Ноября промозглый ветер?
Ты держишь Пельше, от своих отстав.
«Товарищи, ряды свои проверьте», —
распорядитель тянет за рукав...

Почтовый ящик! От таких подальше...
Колосья колят Мировой кочан.
И ты полюбишь на ходу поддавших
родных, с утра под мухой, заводчан.

Вперёд нельзя, и напирают сзади,
и выход вбок закрыт грузовиком.
Что делать с Пельше? Выбросишь — посадят...
И давит балерун броневиком.

На отщепенца здесь идёт облава.
Всё в кумачёвой и твоей крови:
и «С», и «Л», и «А», и «В», и СЛАВА
на министерствах Правды и Любви.

1984

ОПЫТ ВИНЬКОВЕЦКОГО

В исподах мозга, на лету
минуты мутные, лихие
намертвевают черноту.
Их — вывихнешься, не исхитив
(страданье — пятая стихия),
ведь: по́-живу, не по холсту.

Но живописец-беспредметник
сумел и в обстояньи зла
их обезвредить, бесприметных.
А каждая, как ни мала,
на то влияет, чья взяла:
беды или гражданской смерти?

Мой друг (ни в чем его вина)
в час ожидания допроса
молился на просвет окна.
Вот — и зажжется папироса,
дым поползет под лампу косо,
и — называй, мол, имена.

Тогда художественный опыт
противу тех минутных сил
он вывел, чтоб избыть их скопом.
Но для начала до чернил,
до хлопьев сажи утучнил
невидимую эту копоть.

Мрачнела следственная клеть.
И, действуя медитативно,
он злую тьму пустил густеть.
В ядро завязывалась тина,
по сути своего мотива
с краев редевшая на треть.

Когда ж клубящийся булыжник
у друга над виском навис
эссенцией чернот облыжных, —
он быстро ограничил низ,
пустивши рейками карниз,
и сверху, и с боков — от ближних.

И яд унял над ними власть,
иссяк, вися в дешевой раме.
Осталось подлнца заклать.
Он путать краски был не вправе:
на красную тот прямо прянет,
от розовой — разинет пасть.

Зеленую! Крестом широким
(да позаборней подобрал):
— Изыди! — Эдаким нароком
его похерить, и — за шкаф,
где будет преть, гугнив, гуняв, —
абсурд, пародия на Ротко.

Встал, прогулялся: три на пять.
К себе же самому — доверье.
— Да где ж они? И — ну зевать.
Взял книгу за минуты две — и
сказал в открывшиеся двери:
— Отказываюсь называть.

*Милуоки, Висконсин,
Июль — сентябрь 1982*

ТОВАРИЩ-ГЕНЕРАЛ

Что Жуков? Жуть:
 всем — гроб!..
А этот — генерал:
Петр, понимаешь, Григоренко —
не на ура, а крепости бравал
 (или — бирал?),
и не от турков — грекам,

от нелюдей — и — только человекам
давал! Вот был:
за дело — горлодрал...

Товарищ: и —
ни свысока, ни вверх,
и, нет, не аты-баты,
а:
воитель,
сидельник за других, товарищ-человек —
хоть орденно-медальный пересверк
уже не озарял тюремный китель.

И — точка. Тот! За скиф, за: -ских!
евреев и татар.

А то:
в
тартарары за справедливость, —
в тотальный таз ли,
тир ли,
бар, —
где доктором бодается комар,
в бедлам, —
где аттестат на вшивость.

В: куда-то, где Макар
гонял теля:
в: почти — скотоприемник под Чикагом...
Где галилейно-круглая Земля...
Смерть о него споткну-, спотклась
легионерским шагом.

Взводный, давай, запевала, нишкни!
Ржавый, а ну, диссидент, подтяни...

Урбана, Иллинойс, март 1987

ПОЛЬШЕ

(во время военного положения)

Бравурно говорлив, чернокрылат и лаков,
жемчужную картавинку рояль
пророкотал и выплеснул, восплавав...
Но благородный звук никак не окрылял
ни «Польшу нежную, где нету короля»,
ни бурно негодующих поляков.

Увы, не волновал блистательный клавири
ни прелестью прохлад, ни прелью жара,
которыми он Истину кривил:
заполонил эфир как раз, когда Варшава
белками, бедная, от немоты вращала.
И плыл аккорд по клавиши в крови...

Конечно, под прямым присмотром сюзерена...
Но — свой же, свой! — на марсовых полях,
чтобы страна не стала суверенна,
орла когтит орёл, и с ляхом бьётся лях.
— Тадеуш, ты хорош не тем, что ты поляк,
лишь — ежели мышление созрело!

Виновен ли при том со-братственный народ?
В другом бараке общего режима
ярмо ему больней и дольше трёт.
Но, чтобы Музы ввек беда не раздружила,
наш дивный Мандельштам, свои распялив жилы,
о Польше пел, небесный патриот...

Всё той же властью несправедной замучен...
Виновен ли со-ангельский ему

И пыхнуло: не хватит ли кондратий?
(О, только не сейчас!), (не здесь!)...

Но то, что пшик пройдет:

о нет, и нет, в квадрате!

И — не надейся!..

А — дюжиною воспаряясь лифтов,
на семь частей распятерясь
в разнонаправленно-разлитых
пространствах, — выйдешь ли на связь?

На: собственно, — гетерополовую?,

(подванивает холодком),

шпионскую?.. Или ещё —

через пардон — какую? —

Откудова и кубырь — кувырьком?

(Но пазуха в отеле, — как рубаха:

что тут — уют, через этаж — мотыль!

Термитный прах... Ремонт.

И рядом — похоть паха,

И — вакуум, где — пыль.)

(Украдкой — кокаин благоуханно

просыпан прямо на ковёр;

под дверь, как выхухоль, —

нюх-нюх, марихуана...)

И тут же — (нет!), как вор...

И тут же, да, — долдонят, поджидают;

но встреча — не с руки:

один — жирноулыбчат;

с ним — гидальго, —

трагикомические старики,

коми-трагические, фарсо-драмо-
лирические, так сказать...

дивишься опосля:
 куда, откуда этих свойств?
— Ах, кореш!
Так, понимаешь ли,
 неладно все сошлось...

И, главное, для ча?
 Гноятся чаевые
у полового под полой.
Но он не замеча...
 Ет, не. А замечали б вы ли?
Ли б, да. И были б счастливы порой.

Жизнь возвращается
 опять на крúги...
Но если даже просто на круги,
то — колеи, колёса и подпруги
не сходятся.
 — Ну, что тут скажешь, други?
Сказать же — всех обидеть.
 Не моги!

Вы все обкрадены. А я, хотя и тоже,
зато увидел мир.
 Местами он неплох,
но только надо слишком лезть из кожи...
Не правда ль, — не для нас, Володя Блох?
— Да знаю, с нами бы поостроже, —
да видно, для чего-то
 Бог сберег.

А вот однажды на подъезде к Риму:
Рим-Сортировочная,
 щебень, шпалы, Рим-
Навалочная проплывает мимо
лачужно-будочно и косо-криво,
и надпись на одной
 мы со Славинским зрим

хибаре: Константинов #8.
— Как ты сюда попал,
 в какой курсив
бюрократический внесен
 (или не вписан вовсе),
волчице титьку укусив?

Приносят в Рим железные аорты
провинций и столиц живую кровь...
Второму-то не быть, —
 к чему еще четвертый?
И Константинов здесь
 возвел непрочный кров.

Есть дом, а остальное — ересь,
 и — всё.
И я — себе — на ста путях изверясь:
— Как много весей в мире,
 градов, сёл,
а дышло упирается в Медведиц!
— Скорее б ты уже осел, осёл...

У зверя ведь — нора,
 хлев — у скотины.
Но тянет душу дальше протопоп
(неистовый скиталец нескостимый),
пока и в самом деле —
 брык, и в гроб.
— А вы, Будашкин, Блох,
 Славинский, Константинов, —
что скажет корешу
 ваш разномастный скоп?

НА РАСКОПЕ

Вознячук откопал Студенец.
Погляди — аллохтонная гиттия...
Как удачно старатель и спец
отвалил на картон эти вскрытия.

Только слух на слова подкачал.
Выручает просодией озеро,
где — по просеке, и — на причал:
плоскодонно, журчливо, березово...

Нарочь, я же не враг, не тать!
Костерок попридавлен корягою...
Никогда не бывал. Не бывать —
на ладони судьбой накарябано.

А деревня манит: Близники.
Чем? Да той же неблизостью чаемой.
Ночевать бы у Нарочь-реки,
да под самый урез изучаемый

распоясаться с кодлой-братвой
(позабыл ее имя и отчество).
И главней позабыл: я не твой.
Я ведь вправду не твой, и не хочется.

Но порой признаюсь: я готов
наслоения жизни и опыта
отложить в намываемый торф.
И гадать: что добыто, что пропито.

Милуоки, май 1985

БАНТ

Былого перехлестнутые плети,
начала и концы ещё не бывших лет
и наши дни, связующие...

— Спеть ли
с таким узлом на горле?

— Да...

— Нет,

ты напрасно мешкаешь и мнёшься:
отнюдь не наобум — тебе звучит набат,
чтоб душу выдернуть из-под телесной ноши.
— На что
она теперь? Сгодится лишь на бант.

— Бант
всеми нашими, увы, давно уж об-иронен.
В быту он странен. Означая свих,
бант — это бунт. За то поэт Ерёмин
его-то и носил, чужой среди своих.

И было нелегко блондину-футуристу
стоять на самости (а виделось: хоп хны).

— Но душу?
Ведь она ж потом не повторится,
хоть что напяливай, хоть силуэт страны.

Но этого не трожь! А ты — лишь бы:
— Заметьте!
Готов на всё стареющий артист, —
на выходку, на выход, вплоть до смерти.
Гнилой ли апельсин, аплодисмент ли, свист, —

что б ни было, сойдёт под занавес финиты.
Поправив бант на опорожненной груди:

— Кхе-кхе,
полупочтеннейшие, вы уж извините,
мы будем и позорищем горды.

Среди своих, да и чужих — чужие,
никем из вас не выносимые на дух...

— А те
старушки итальянские — чи живы
на пьядцах у скульптурных деревух?

— Ну, те-то
не о нас. А тут иная пьеса:
бант распушив, кривляется паяц,
что исписался и совсем испелся,
и — упоён собой, провала не боясь.

Но бух! — и к лабухам. Из оркестровой ямы
взывает к небесам:

— Отверзлись, твердь!

Оттуда прозой:

— Что шумишь, и кто ты, окаянный?

— Цыплёнок жареный, —

вот правильный ответ.

Пройдусь по Невскому, чтоб крепче всех эссенций
слова слились в последнюю строку,
что с клёкотом уже летит из сердца —
моё прощальное:

— Кукареку!

ПО ЖИВОМУ

1.

Рассказать бы простым языком
о голом комке протоплазмы,
что под галстуком и пиджаком
бьется из-, невылазый...

Да, и маменькин гогочка, и
злой зверек и амеба
тычется в закоулки свои
в жажде, в общем-то праведной, млека и меда.

Больно — значит живешь. Больно жить.
Иногда — интересно.
И зарубежкам излюбленным (чем же еще дорожить?)
за года не стереться.

Тут и случай: «До встречи Нигде».
Почему-то припомнилось Волково Поле,
почему-то перо — в (никогда не растил) бороде,
и — не станем додумывать боле...

И — никак, никуда, никогда:
перекресток вот эдаких, лучших
в переперченной жизни, и как ни хотелось бы — да,
нет, не выйдет, голубчик.

Не того ли же солнца припек,
и не те ли же зги вечерами?
А, как вышло-то вовсе не так, поперек:
что Страну, — мы себя потеряли.

И с пробоиной в ребрах, и черпая чёрта бортом,
держим курс на какой-то Канопус.
Ну и что: если даже потонем, так это потом.
Раскрутили мы все-таки глобус.

2.

Ах, ты песня, песня русская,
выручай от заморской тоски, —
словно лезвие узкое, узкое
разрезает комок на куски.

Почему, для чего и откуда я?
И — куда? Подо мной — океан.
Что-то где-то должно быть напутано:
как допить непомерный стакан?

Я ведь русский, брательники, русский я!
И куда же меня занесло?
Карта Мира вселенская, хрусткая
нулевое мне кажет число.

Где-то поле и поскоки конские,
городецкий раскол калабах.
И в размор на припеке, на солнце
холодок пропотевших рубах.

Повернулась Европа на палочке
и пропала в воздушной тени.
Ах, Семен Ерофеич, с Пал Пальчем
чокнись, друг, и меня помяни.

Над Атлантикой, 3 июня 1983

3.

В священных городах, где травяные руны
струятся на ветру и высятся руины,
окрашен ягуар не охрою в кумирне...

.. Но камень орошал живой и страшный сок.
И низкорослый жрец вот этот мой комок
(на миг пригрезилось) из-под соска извлек.

При том, что ломит грудь, — лагуны на черта мне
причудливо-чудных и чар, и очертаний?
И в наслажденьях — боль, а в бедах — не считаем.

Я раньше верил: жизнь есть не юдоль скорбей, —
пир небожителей, где только радость пей.
А вот что жизнь: — Браток, опохмели скорей!

Нежно-божествен мозг у сей дрожащей твари,
и выращен в душе все-мировой чувстварий...
Но, что ни говори, — бутылка не товарищ.

У барракуды жор, — огнем блеснул зрачок,
как бы сама волна живая; что за черт?
И в душу заглянул с усмешкою мрачок.

Страх одиночества, страх смерти, страх безумья
глодают бирюзу Карибского лазурья,
за то вливая в глаз позорную слезу мне.

Как слоно-паровоз, когда-то Китоврас,
неповоротливостью был силен как раз, —
об угол бытия и я — реберьем — хрясь.

До кожных волдырей ошпаренный кораллом,
тому скорее рад, что болью — боль караю;
кокос до молока гвоздем расковырял я.

И разом хлынула вся жалкость жалких лет,
о невозможном невозможный сладкий бред, —
одно большое Да на все былые нет.

И к вящей правоте гаданий и решений
не давит ни ярмо, ни петля, ни ошейник.
И в беглого раба вцепился рак-отшельник.

Мексика — США, февр. 1984

4.

Вещи могут морщиться, как лица,
вот одна возглавила пальто:
на себя неузнанно глядится
ошалелый дядька с пульсом 100.

Узнаешь ли давеча царевича
в дядьке? Неужели это — я!
Как у Владислава Ходасевича,
только по всезнанью — не змея.

В драку шел когда-то, как на праздник,
мир изъездил, исходил Париж.
А — в изветах, в язвинах напраслин
больно ли? О чем ты говоришь.

На людей железо не замахивал,
слова не растлил, куная в яд.
Но признаньям этим, ох— и аховым
кто-то, похохатывая, рад.

А сейчас бы тихо пискнуть: мама!
и вверху воробушек: чувить.
Шкурой подгнивая, рухнуть мало.
Рухнешь — как бы тех не придавить...

Отпусти мне лет побольше, скареда, —
каюсь и канючу, как цыган:
Дари-дари-дари, дари-дари-да.
Поздно, конь хромой, пустой карман.

И — да будь подольше не допета,
положи на ноты даже стон,
песня, у которой — ни секрета.
Если только точен тон.

Милуоки, февр. 1985

СТРАСТИ ПО ЦАРЮ

Когда глава Свердловского обкома,
чья белая чупрына — всем оскома,
велел взорвать костяк Ипатьевского дома,
он этим упредил тогдашний зуд Москвы.
И дом сравнивали с почвою, увы.

Значит хотели скрыть,
руки замыть молчком...
Тихо убрать, срыть,
как свидетеля, дом!

Но: колокол, бей,
звените колокола.
где — столько скорбей,
злые были дела.

Чтоб ничего — ни кирпича в избоях
бульдозер не оставил за собою,
и не было у всех ни памяти, ни боли,
чтоб доломать в мозгах эпох последний стык,
и чтобы — ни злодеев, ни святых...

Нет, то был не суд —
кровавая баня, бред...
Гул, медленный гуд
длит медное «Нет!»

Бей, колокол, бой
переливай в звон, —
тех загубленных боль,
и замученных стон.

Как 80 лет тому, в подвале:
спустили сонных, слышащих едва ли,

что им читают. В руки не давали...
И подпись неразборч... Какой-то ЦИК.
И начала ЧеКа свой адский цикл.

Бей, колокол, в пульс
переливай звон.
Пусть голосит, пусть
скорбно гудит он:

вой, голос и зов, —
камни-сердца стронь.
Даже вот этих строф,
а — сотряси строй!

Из маузера, мимо: — Что же это?
Из трёхлинеек, и — в упор по жертвам,
и дико искры высекались рикошетом...
А где ещё, дыша, лежал кровавый ком,
там и приканчивали — *то*: штыком.

Траурный перезвон —
желто-бархатна медь;
можно ль из горла — вон:
выкрикнуть эту смерть?

Бронзов и яр язык,
латунна его гортань.
Этот голос и зык,
по тишине — грянь.

— Испепелить! Чтоб ни следа, ни меты...
Уже цари и слуги, девы, дети
на досках кузова лежат, мертвы, раздеты.
— У барышень в белье проверить каждый шов,
чтоб ни алмаз отсюда не ушёл.

Ангел опять — весть;
снова в нём стал смысл:
царственный крест несть,
и — о гибели мысль.

Бей, колокол, в гром
пушечный перейди.
Даль: позади — Содом.
Гоморра — там, впереди...

— ... Ль?!

*Санкт-Петербург — Шампейн, Иллинойс
июль — авг. 1998*

ТРОЦКИЙ В МЕКСИКЕ

Дворцы и хижины, свинцовый глаз начальства
и головная боль, особенно с утра, —
все нудит революцию начаться.
— Она и началась, но дохлая жара...

В жару, что ни растёт, от недостатка вянет,
в сосудах кровяных — ущербный чёс и сверб.
Коричнево висит в голубизне стервятник, —
эмблема адская, живосмертельный герб.

То — днем. А по ночам — поповский бред сугубый:
толпа загубленных, и всяк — в него перстом.
Сползают с потолков инкубы и суккубы,
и мозг его сосут губато и гуртом.

Опять напиться вдрызг? Пойти убить индейца?
Повеситься, но как? Ведь пальмы без ветвей.

Да из дому куда? А — никуда не деться:
Поместье обложил засадами злодей.

Те — тоже хороши. Боялись термидора,
а бонапартишка — исподтишка, как раз, —
(как дико голова, и нет пирамидона)...
Французу — Корсика, что русскому — Кавказ.

Но какво страну, яря сословья,
блиндированным поездом ожечь:
не слаще ль этот рык, чем пение соловье —
рев скотской головы пред тем, как с плеч!

Мятеж, кронштадский лед, скорлупчатое темя...
...Боль на белый свет!.. Молнийный поток.
— Что это, что?.. А — всё. Мерцающая темень.
Жизнь кончена. В затылке — альпеншток.

1984

АБСУРД С НЕПРИЛИЧИЕМ

Отдыхаешь, а в мыслях залетно:
— Ах-ха-ха! — записной зубоскал,
некто тенором крепко зальется.
Или палец кому показал?

В том и шутка, что не было пальца,
в том и жуть, что нема смехача.
Видно, Принцип какой-то распался,
за который бы жизнь сгоряча...

Без которого в дырке у смысла
черноватый пустой хохоток —

хоть святых выноси — разрезвился
по-дурачки: в портках — без порток.

Кукиш ноликом, коего в школах
никакунюшки не обсосут.
На хаханю не создан психолог,
он — отсутствие сути, абсурд.

Видно, лопнуло Нечто, что веком
на века закумирено впрок...
Звонко пукнул тому с кукареком
весельчак безо лба, колобок.

22–23 ноября 1983

ЯШИНА ВЕРЕВОЧКА

Мерзо-сытая, американская,
скользящая без мыла, мразь,
все же захлестнула, не соскальзывая,
выдержала, не оборвалась,

напряглась, тошнотная, брезготная,
врезалась удавкой на затыг
в душу, занемогшую невзгодами,
теплую... И ни за что, за так —

все дары-сокровища... А прежде ведь,
ядами житейскими дыша,
как она умела обезвреживать
горечь, добролепая душа!

Видно, приземляясь, преждевременно
ликовала в новизне свобод...

Вот и — разрывное повреждение:
с ларами разлука — не Исход.

И такое хлынуло в пробоину
темное, что (знаю эту боль)
захлебнувшись мраками и болями,
кукарекнул разум, дал отбой.
Выскочил в какой-то юмор висельный
и, уже святым не дорожа,
всем язык в самоглумленьи высунул
точно: сквозь окошко гаража.

Поделюсь землю уворованной
(для себя в таможнях пронесил).
Только глистоватую веревочку
вытошнить из памяти — нет сил.

13 мая 1984

СВЕТЛА

Узлистое семя тирана,
кремлёвский воробушек, дочь,
спросонок босота Светлана
порхнула из форточки прочь.

И — в мир, и — в миры, в измерения!
В иное и новое, вон.
Туда, за моря, в замиранья
себя, за собою вдогон.

Но там, на Луне, в деревенской
комфортно-стеклянной глуши
в подушку уж не доревеется
до ближней 100-вёрстой души...

О нём голодается остро,
друзей нехватает до слёз.
А эти глядят, как на монстра
опасного, но не всерьёз.

Ах, как бы они лебезили,
когда бы им — бешеный кнут,
чтоб знали! И — выблеск бессилья:
был папа оправданно крут.

Секомые знают и помнят,
мимически полно молчат...
Назад — в это логово комнат,
до жарких и душных волчат

своих, чтоб вихры теребить им!
Дадут ли, седые, теперь?
В кремлёвскую мать-обитель
взахлоп для воробушка дверь.

Для рыси орлецкой, для тигра
ужель не найдётся угла?
Пока свой конец не настигла
царевна в опале, светла...

1984

ФИЗИОНОМИИ

Как, однако, вожди некрасивы,
если даже и льстит аппарат.
Сколько тучной набыченной силы
выставляют они наперед.

Ни на гран, что мы ценим и любим
в собеседнике, в друге, в другом:

чистоумной открытости людям,
искры юмора — нет ни в дугу.

Но за тяжкими их орденами,
за буграми напыщенных лиц
до чего же они ординарны!
— Как бы с нами единая власть...

Оттого мудрецы и безумцы,
те, что были бы солью земли,
либо там на запечьи трясутся,
либо всяк на свободе замлел.

Кто-то скажет: — А так нам и надо...
Знал бы всё, не перечил бы впредь,
и — обратно бы в теплое стадо
потереться боками, попреть.

Перестань: всё равно, всё равно ведь
не втемяшиться в общий кулеш.
Ты уже непохож. Остановят.
Сам побрезгуешь, ложки не съешь.

А братва? А былая дружина,
что случалась роднее родных?
Да ничем она не дорожила,
всем давала с размаху под вздох.

Вот о ней-то горячего сраму
обобратиться ли? Не оберешь...
Как чужую вчерашнюю даму
стыдно вспомнить.

А помнишь — и что ж!

Милуоки, октябрь 1984

РЕКИ

Часы поставил по Большому Бену,
и тот отбил увесистый о'клок,
заезжему (тут все равно — нацмену)
настроив слух... Чуть не оглох.

...Вестминстерским и министерским боем
с подзвучием зубчато-золотым...
И вздох колом, и площади покоем,
по коим носишь, неприкаян,
за пазухою — Алатырь.

...От пращура наследный камень, —
как выкинуть? Куда? — Вот и Нева...
— Окстись, тут мимо Темза протекает,
ты не на тех берегах, образчик меньшинства.

И, всматриваясь в эти мути,
предтечествуй, припоминай, предвидь.
Какие плыли крупные минуты,
и — ничего; и новые минуют;
а были псалмопевны, как Давид.

Но — выпало на кон: два-три заката;
в пыланьях — вся река, по самый парапет...
Гналось: туда, еще за мыс, где как-то
судьба исполнится. Но нет.

...Входил в прохладные соборы,
и в усыпальницы, и в спальни королев;
решали гиды, скоры-споры, —
куда кидать (напра-, налево?) взоры...
За мзду туда пускали, обнаглев.

Но что помимо черни, это: реки,
текучий вывих двух отдельных Двин,
потоки памяти, которые, как рекрут,
форсируешь один.

Вот Волга... Смысл? Ведь — был, да вышел:
фазанами мазут, пейзажами народ...
Бетонный стоп воде; нет монумента выше:
— Умри за клоч земли, пусть он загажен, выжжен! —
плотина-Мать на осетра орет.

Он — оземь из воды. А было: люд — на гибель
во имя имени... Или — имен? Имян?
Навороти любые глыбы, —
всё в прорву унесет река времен (времен)...

...Как Моцарт сочинял в скрипучих зальцах
солнцестремительный клави́р
и вниз в колбасную бежал отведа́ть сальца,
(так и летят из Альп Изар и Зальцах,
зеленоструйные), и ноты не скривил.

Не то — иные... Он величия не ищет.
Гнездо соловье держит детская рука,
сперва касаясь крапчатых яичек,
и клавишей потом, или смычка.

А в наши мути-памяти вмесились
Куры и Тибра мели и прыжки,
Гудзона черный блеск, меандры Миссисипи
и Сена серая, за то и всем — спасибо:
закрой глаза, и — у реки.

...А с Эйфелевой верхоты — и вовсе
до невских кронверков и шпилей — прямоком
2160 + 8
последних километров. Хоть пешком!

Но сердце белое Монмартра
и холм предсердья — заслонили взгляд.
Туда — наметил я на завтра.
Взобрался. Дождь полил внезапно,
в минуту всё смешал: Восток и Запад...

И я пошел в гостиницу назад.

Там же, ноябрь 1987

ГОРОДА

Полузатопленный загнивший Петербург
и Загреб чопорный и черепичный, —
какие города! Какие — вдруг —
живые черепа и котелки для пицци,

для пиршества, для нищенства и горше...
Такие города, как шляпу, протянуть —
глядишь, и обронит волшебный грошик
негоциант, колдун, крылатый кто-нибудь.

Есть горе-города, есть города-гордыни,
они скребут мой череп изнутри
крестами, башнями, что в них нагородили
святые зодчие и плотники-цари.

И я там хаживал и сиживал, бывало,
в том, наисамом (что уже — клише)

кафе, где все бывали, у бульвара
в Париже-празднике и в Лондоне-левше.

Там, как из цедры сок, так цедится минута,
в любом из них прожить всю жизнь бы! Но —
одна и коротка. И крепко перегнута,
и — чуть не пополам. Такое вот кино...

Мелькают в нём расплывы, перебивы,
мчит опель напрокат, конёк-возок для двух...
— А те старушки итальяские, чи живы
на пьяццах у скульптурных деревьев?

— О чём они тогда, мы чуть — за угол?
— Какая разница, а если и о нас?
Рим, например, был мне подарен другом
так, просто ни за что, в хороший час.

И я ему в ответ — вьюном увитый,
весь в разрезных гвардейцах Ватикан
желто-лиловый... Там его правитель
на языках при нас глаголу потакал.

А вот Венеция — сама, туман отдунув
с лица, дарила дождь, как дарят поцелуй, —
и грима не стерев, мол, и не думай,
бери, что дали, больше не балуй.

Любимая! И в горле — ком от счастья.
Сейчас я Плитвиц плеск тебе дарю,
где струи без числа журчат, летят, сочатся...
А мне бы — только храм на рю Дарю.

Там так настраждено (а внутрь войти не вышло),
намолено изгнанничеством, там
накаждено, поди, до клироса и выше —
всё по российским весям-городам...

Из них, так и не взят, один остался Китеж.
Тут и соблазн: а если Китеж — Кремль,
то что тогда? Исполнившись, какие ж
извечные мечты увечатся, и кем!

Есть города-голгофы, но без Бога,
есть города, где гроб туризму напоказ;
как яблоко Нью-Йорк, что грыз я; грудь-Гаага,
где не был никогда, но в следующий раз...

Зато у Майи в тропиках: — Гляди-ка, —
до неба паперти, так и зовут — залезь!
И я туда влезал, а вниз — и думать дико...
В мазолях каменных весь город-мавзолей.

Но старосветские милей мне будут кручи:
Дунай — Денёб, из Буды вид на Пешт,
и вид обратно... Вдруг: мадьярский кучер,
и опелю капут; опять я буду пеш.

Мы, впрочем, с городом помиримся в июне:
одетая водой, глядела дева вслед...
Расстрелянный фасад с балконом — наша юность,
сочувственный мятеж, плащ, автомат, берет.

Фасад в избоинах, раздавленные жесты, —
такие города встречаешь, как себя,
как сверстника тех лет, самосожженца:
— И, свет сильнее жизни возлюбя,

ты, Прага, вся горишь, свечами оплывая
на площади среди других святынь!
А нищий лебедь клянчит каравая,
и острой на всех замахиваясь, Тынь

торчит... Пора, — отдав поклон великий
мостам и рыцарям с марининой горы, —
туда, где Вена взбила каменные сливки,
гульнуть, где столь крылаты алтари.

Нам путь укажет бронзовый философ,
заметь: не полководец, — верный путь,
но я устал. Домой. Пыль отряхнуть с волосьев,
при перепрыге через океан вздремнуть.

— А этот город — что? — Чикаго... — Градозавр!
Слегка потрянуло. — Слава Богу, а могло бы...
Вот и Урбана, где пишу, где взял
да точку и нанёс читателю на глобус.

Там же, август 1990

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Счастливый человек поцеловал в уста
Венецию, куда вернулся позже.
Такая же! Касаниями рта
ко рту прильнула тепло-хладной кожей.

Приметы на местах. Лев-книгочей;
зелено-злат испод святого Марка,
а мозаичный пол извилист и ничей:
ни Прусту, никому отдать его не жалко.

Ни даже щастному, счастливому себе.
Или — тебе? Поедем «вапореттом»,
и вверим путь лагуне и судьбе,
и дохлым крабиком дохнёт она, и ветром.

По борту — остров мёртвых отдалён:
ряд белых мавзолеев. Кипарисы.
Средь них знакомец — тех ещё времён —
здесь умирят гнев и капризы

гниением и вечностью. Салют!
Приспустим флаг и гюйс. И — скорчим рыла:
где море — там какой приют-уют?
Да там всегда ж рычало, рвало, выло!

Но не сейчас. И — слева особняк
на островке ремесленном, подтоплен...
Отсюда Казанова (и синяк
ему под глаз!) в тюрьгу взят был во-плен,

в плен, под залог, в узилище, в жерло, —
он дожам недоплачивал с подвохов
по вексям, и это не прошло...
И — через мост Пинков и Вздохов

препровождён был, проще говоря...
А мы, в парах от местного токая,
глядели, как нешуточно заря
справляется в верхах с наброском Рая.

Она хватала жёлтое, толкла
зелёное и делала всё рдяно-
любительским, из кружев и стекла,
а вышло, что воздушно-океанно,

бесстыдно, артистически, дичась...
Весь небосвод — в цветных узорах, в цацках
для нас. Для только здесь и для сейчас.
В секретах — на весь свет — венецианских.

Шампейн 2001

ХОЛМЫ ИНЫЕ

Гор не было. А были взгорья.
Скорей — холмы...
И электричку не святой Георгий
прокалывал из тьмы.

С Финляндского, считай, вокзала
она, скорей сама,
стреноженную тьму пронзала,
и — стенала тьма.

Морщило сырым и бурым
огнём — окно;
луч по нахмуренным фигурам
плыл розово-темно.

И, хребтом дракона,
рукой подать, а далеки,
назад скакали заоконно
то Кавголово, то Юнки.

Дух влажной шерсти, нет — вигони,
попахивая, плыл,
и пол в полупустом вагоне
передавал моторный пыл.

Хотелось: лета на пригорках
среди курчавых рош

в овражных Мустамяках, Териоках,
чтоб хрущик сел на хвощ.

Там — пропащую подругу
надеялся найти,
жить в бедности, снять в доме угол.
А всё — не то, не те...

Нашел... Хотя — потом. Хотя — другую,
сам за моря уплыл.
Стал вроде гуру:
совсем заважничал, увы...

Но, проезжая Массачузетс,
остановил кабриолет
на миг. И, взглядываясь в чужость,
установил, что в мире нет

того, что не случилось прежде.
Все — было. И — холмы,
и та же в них надежда брезжит,
и брызжет свет из тьмы.

Хребет земли, зубцы дракона,
пригорки и бугры,
где листвой кучерявится дреколье,
и тянет прочь из игры.

Неужто повтореньем тошным
в следующем краю,
и даже за — увижу то же:
в Аду, в Раю?
— В Радо-Аю!

Там же, май 1988

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

То все — и всюду, то как вовсе нет их:
нужнейшие — без них не жизнь! — друзья,
по новосельям в землях-континентах
посеянные... А собрать нельзя,

хоть в эти нети лезь для урожая
за дружеством, — хоть сам в те нети лезь.
Разлука, снулой пади подражая,
внутри сидит у нас, в тени телес.

А и в тенетах внешних тоже наши
среди орбит оборванных и струн
вкушают вечность, нас когда-то зная.
Там накрепко-фосфорный Сатурн

подсвечивает их родные лица.
И — та, чей остаюсь я паладин,
полупророчица и получаровница,
и — тот, полубалун, былой блондин, —

кто были, те и есть, и вместо Ада
в конце похода певческий Грааль
ждёт нашего Кихота-Галаада:
— Саму судьбу и муку — всё играй!

Но и подмогу я всечасно чую,
а со спины вослед ещё погляд,
и мысль принорую не чужую:
— Минуты, мол, ползут, — года летят...

Я тоже песню спел. А это значит,
что время — тишиной по горлу: вжих,

и нет уже меня. Отпрыгал зайчик,
но оказался с мёртвыми в живых.

март 1993
Шампейн, Иллинойс

ЮРИЮ ИВАСКУ

— России нет, — жёлчь изливал Иван.
— И — хорошо! — юродствовал Георгий.
А что тогда гналось на Магадан
и мёрло в сёлах?.. Юрий был негордый.

Всегда, как и теперь, седобелёс,
он, видно, веял юностью такою:
хоть от острот и хохотал до слёз,
но плакал над марининой строкою.

Он *пели* — *пели* — *пели* написал,
и: *пили*— *пили*, *поле*, *пули*, *пали*.
По знукам Пли и Эль на небеса
вели доброармейцев Пётр и Павел.

Но тон Парижской ноты был уныл,
а чистенький пейзаж новоанглийский
так и остался сердцу мил-не-мил:
— Мне москвичи любезны, Вы мне близки.

Не в эльзевирах — вечный человек:
несомый папиросною бумагой,
по Самиздату бродит в дождь и снег,
играя в мячик со святым Гонзагой.

Мы с Юрием в самом Раю — а где ж? —
постелим самобранку под- за кустик
и за Россию чокнемся: — Грядешь!
И малосольным огурцом закусим.

Милуоки, июль — сент. 1982

ГЛАЗА В ГЛАЗА

В младенчестве время было
муркой на солнцепёке.
Время клубком играло,
а Парка клевала носом.
В зрелости дозверело
до мускулистой львицы:
коготные потягуси
да презёвы с кляцем.

Вдруг: только что тут, и — нету.
Вздрагивает метёлка
в такт какому-то пульсу,
а так — просто трава...

Я это к тому, что не стоит
блеять на бурные вспрыги...

Но — залюбоваться, глядя в
(остановись, мгновенье)
взрывчатые зрачки.

Милуоки, нояб. 1983

ТРИ НОКТЮРНА

1. Ночь Иллинойская

Не вечер: череп дня, и месяца, и года.
Повысыпало звезд, а Сириуса нет...
Но вылез Орион. Он в яме небосвода
запястью мёртвому наблещет на браслет.

На целый клад, на склеп и труп насветит
владелице нагих над нами нег,
Америке небесной, где все эти
понасорили скопом на ночлег, —

сюда сойдысь, — цари, чудовища и птицы,
намусорили — чем? — своими же костями...
И Хартю таких, как подписи, петиций
шлют кверху, ветхие ночами и денми.

Их смерть нежна, напоминая вечность
и даже чем-то — жизнь.
Развоплотясь в лучи, расчеловечась,
взошли... А вышло: это ж низ.

В враге воздуха — сокровища и падаль,
а вот и — Сириус (как мы сумели без)
берёт свое сверло, гробокопатель,
и выковыривает из бездн...

...Минтаку, Альнилама, Альнитака
(аль в списке что-нибудь не так?)
он посвящает ей, чуть выпуклее мрака,
красавице, чей светится костяк.

Её — по рыхлой черни — оттиск торса
с хребтиной Млечного пути,
сияя судорогой, к полюсу простерся
уже неплохо за полночь, к пяти.

По жилам, но не кровь; — долготы льются;
в торосах — ледовитая рука;
приподнято плечо Аляской алеутской
черно-прозрачного материка.

Сосцов её: Соединённые Перлы,
(верней, разъяты) в крапе звёздных карт...
Их полушария с ложбиной прерий
кладоискателю и — открывать!

Он был готов распеленать початок,
но это — Юкатан... А там, на страже тайн —
Плеяд стожарые печати...
Хотя и узок, а закутан стан.

Стан узок — статны в тех широтах бёдра,
где слишком Южен Крест,
где самая-то Амазонка бреда:
предутренних и мутных грёз.

А ей — пускай; всё это — можно...
Вот и Дракон обвил веретена
чилийских голеней. Скалиста ножка,
что трогает: студёна ли волна?

Извне мерцая нам (неужто мимо?) — стелла:
земное, впитывает прилипанье глаз...

Они — её заляпывают тело.
На то и жизнь — космическая грязь!

...А встала, ясная, зарозовела
и в голубое мясо облеклась.

апрель 1989

2. Затмение

...И днём приходит гневное, ночное,
клокочущее: — Что-то тут не так, —
неправедно, неверно учинённо!..
От человека — тень, от света — мрак.

От птицы больше остается — в Бозе,
где вьется визг, и свист — широкоуст;
но здесь летун лежит в парящей позе
и в оперении, а череп выпит, пуст.

Я этого стрижа в сияньи вижу, в нимбе
вкруг мёртвой голой головы.
И меркнет небо в полдень, ибо
он — весть о всех: — О горе нам, увы!

Он карликом, летучим нибелунгом
себя лучистой гибели обрёл:
на солнечный пойдя осадой, лунный
свет застит свет, а льва — единорог.

Но те-то там, тотемы, зодиаки
и светочи очей, а тут, смотри:
не то чтоб гром, не то чтобы во мраке,
но нечто тихое увечится внутри.

А что и вне, в на целый Свет размахе,
в пространстве душится глухонемом, —
так это давится душонка в страхе,
и ёжится ее крылатый гном.

Он, видно, и лежит пооколу от окон
на белом гравии (догадкою ожгло),
что мчал от сумерек, и с гиком, и к Истоку
сверкающему, — а влетел в стекло.

сентябрь 1989

3. Комета

Кто световую арию поет,
как бы лучом крича, и даже резче, пуще —
кто Солнцу-льву заглядывает в рот,
о небо личико расплющив?

— Да, это та, которая, в кой век,
из галактического фарса
влетает как-то каблуками вверх,
неважно, лишь бы не сорваться.

Всей гривою огней — назад, от скул —
с какого блеска этот слепок,
которому планета, что — ау? — аул:
скопленье искр, гнилушек склепа...

— От неотмирных тех звездо-богов,
что числятся вверху под номерами, —
дошвырнутая весть, взглядо-огонь,
сестра тому, кто в камне умирает.

Он вправду гибнет, человеко-град...
О, если бы в секунду световую
миг мрачный обратить, пустить назад,
гранитному, не дать исчезнуть вскую!

Ведь мы вошли, как известно, в мысль о нем,
в те несколько фасадов, два-три шпиля,
зывающих: спасти. Не то — спалить огнем,
к нему весь мир пришила.

И тут-то грудью и в — не знаю что — кишлак,
в полуподвал, в подслеповатость Рая,
она выматывает пук светящихся кишок,
себя о сорный воздух раздирая.

И леденит извилины сквозняк,
в умах напечатляя мету,
опаснейший хвосто-крылатый знак,
зрак мрака, самопальную комету.

И вот, мы ждём: с уже заумных сфер
сошедшая для дела злого,
жуть-птица, полу-Люцифер,
не свалится ль огромным словом?

Да, свето-вопль, и — тоже — пыл,
и вид, внезапно грянувший и грозный, —
пророчество о нас:
— Мы — пыль,
пыль, ставшая на время грязью.

— Все тусклые, мы перетрёмся в смерть,
по делу нам и почеть, да и впору...

Но будет впрок: после-последний свет,
когда орбиты рухнут в прорву.

Проглотит медленно-немотный взрыв
и всех, и вся, и деву-взрывоносца,
пустой припухлой вечностью покрыв.
Но с надписью «конец» она вернется.

август 1989

ЧЕТВЕРО

Парк машин подъездной,
проходной полусад,
здесь 4 ствола вот так и стоят:
тёмно-серых, чешуйчатых до самого сростка,
там, где хвоя у них наверху
с виду нежёстка...
В облачных перьях над ними,
над местом видны
крыло-лапых 4 сосны.

Размахайны их профили;
патло-лохматое
время отхиповало когда-то...
Их неймёт ни сякой снеготай,
и — ни листопад, —
в зелени остовы их, не таясь,
покуда живые, стоят,
чёрным на небо наляпаны:
четверо сразу
всунуты в воздуха красно-надбитую вазу...

...старости и зари.

Врозь пока; но уже завелись визави:

закидон сразу двум,
а есть ведь и третий;
покартиниться хочется,
заново,
что упущено — встретить,
вспомнить былые рутины,
ритуалы тщеты...
Или же это 2 остывших четы?

То, что грело, то стало
прахом и пылью — из пыла.
видно, с первых примерок
всего-то и было:
рост
да совместные опыты по добыче блаженств.
А воздетые длани — не в местных традициях жест...
Им с отвычки бы пере-того это пары,
чтоб остро и вдосталь...
...Да то же и будет,
за вычетом, разве, удобства!

То же, и — боль невтерпёж
вызвездит обязательно,
если 3 плюс 1 у аншлюса расклёш.
Воли — с противоволями
столкновение лобовое;
любовь пожирается ревностью
и — обратно любовью.
Ни единого выхода,
крут и кругл треугольный мирок...
Плюс ещё один ёжится, одинок.

Одиночество —
вот венец абсолюта,

вот где слёзы разводами отольются...
Сладко ль с другими гореть? Сам сияй.
Одиночество — всех и вся...
Одиночество четверых,
даже с другими рядом,
даже древесное — под и над
пламенными
Парадизом и Адом.

Урбана, ноябрь 1987

ТРИ МАЛЫХ НОКТЮРНА

1.

Дыханье, что доносится едва,
и дождь, который сеет, шепелявя,
сложились вкупе чуть ли не в слова
приоткровенья сонного, но въяве:

какого же, о чём же в этот час, —
когда не «даждь нам днесь»? И я поверил
(почти), решив, что обо мне, о нас
в небесные вразверст над нами двери

они летят... Но капель разнбой
по лиственной, в осенней жиже, слизи
напоминал, что нет, лишь о себе самой
дыханье отчуждающей жизни.

2.

В нагнетаемой тьме, в без предела,
в до того запрокинутой, аж

хруст раздался, как будто просело
что-то в доме тяжелое... Кряж?

Хрящ, воздушная косточка счастья
или сам позвоночный хребёт
стал, скользя с разворотом, смещаться,
и беда, если жилу сорвет.

Все так хрупко, так пригнано кругло, —
только чуть, и — каюк, и капут
Китоврасу — реберьем об угол,
или сразу конец Кикапу.

Но пока, светлячок слаботочный,
в мировой накрённой ночи
незаметно пульсируешь строчкой,
значит — жив. А живешь, и молчи.

3.

Слегка мазнуло счастьем: всплеск ли, вспышка? —
и сплыло влажно-радужным пятном.
Ни зги, ни зла, — ни петела не слышно.
Ничто не слишком в слепище ночном.

И дрёму-то заспать, чтобы из уст не вышла:
ни песнь, ни плач, ни гимн и ни псалом...
Лишь тьма да тишь пусты и наивысши,
тождественны торжественному ОМ.

О мудрое Ничто, чей облик безумышлен,
чье круглое чело на все глядит нулём...
Что я пред ним? Оно — и палица и мышца,
в таком — таких, как я, кольчужин миллион.

Но: встав до птиц, торс растереть, умыться...
И — день-кремень взять в руки, кроманьон!

*Урбана — Шампейн, Иллинойс,
ноябрь 1990 — март 1992*

ANNO DOMINI MCMXI

Женщина. И если даже — «видом
величаявая жена»,
храбрость выкажет и тем, как выйдет, —
сколь и перед кем обнажена.

И ещё: Париж перепарижить!
— Пусть не угадаю, — сочиню:
лучшего (посмертно) — я при жизни
одарю слепящим «ню».

(Молотом тысячелетья
сплюснуть дряхлый век;
пятками — навыхребт, абы чем-то
выразить свой свих.)

Может, этого она хотела,
а не вскользь, не в меж
раздвоившегося тела —
ражую чужую дрожь...

Тут же — муж, совсем не одурачен.
просто с толку сбит, что нет
превосходства перед новобрачной,
и — в стихах. И — в Африку билет.

Срыв. Хотелось душной крови...
— Вы? Туда? В — на глобусе, вон там?

Завтра же тому, кто вровень,
наготу и Африку отдам.

Где уж недо-худо-футуристам!..
Загодя, «Собаки» — до, нагой
взять себя — и выставить
грудью, голою ногой...

Руки и сосцы — горе, где гелий!
Более — раздвигом ног на миг —
на голову вставший гений
оказался скрыт, как — нет, для них.

Скромница гени-гели-ально-
есть! Её огнём она
вплавлена в себя, и стала сталь, но
розой тронешь, и — нежна.

Леля, тая, видела во взгляде,
розы вдруг роняла на постель.
Женщина... Тебя, отжившей, ради
я живу. А за других — прости.

*Шампейн, Иллинойс
август 1997*

ДИАНА АНГЛИИ

Теперь вы стали «Королева фей»
(иначе не достичь такого сана,
чем смерти уступив её трофей),
британская любимица Диана...
За то, что подходили идеально

для роли и, сыграв её всерьёз,
свои дела, делишки и деянья
Вы подвели к черте — лавины роз
Вам поднесла страна. И — океаны слёз.

Пока над Вами Виндзоры мудрили,
и заточалась лёгкая краса
в тяжёлые безвкусные мундиры,
Вы, Англии улыбка и глаза,
сияли вашим подданным из-за
плеч мужа или царственной свекрови.
И здесь впервые сдали тормоза...
(Так, прерванную вдруг на полуслове,
простую Вашу речь продлила струйка крови.)

Мир — чёлкою очаровать. Родить
двух пареньков, пригодных для престола.
Но пресный муж то занят, то сердит,
соперница уже полупристойна.
В газетах — дичь придуманных историй,
и мелодрама вышла из границ.
Уста дрожат. В конце концов исторгли
разрыв, протест! И вот: «Прощайте, принц!
Я буду ужинать с другим в отеле «Ритц».

Как уязвима яркая приманка!
Парижем пусть обидчик умалён.
А с блицами — убийцы и приматы:
«Принцесса в спальне» — верный миллион.
И королевским пьяные бельём,
за вспышки: «На горшке» и в том же роде, —
«Погоня», «Крах», «Затравлена живьём»
получат враз и миллиард и орден...
Феллиниевый гнус, фото-москитов орды!

От них — в тоннель, и — в столб, и тут — мертва.
И мерседес, как мятые перчатки.
«*Leave me alone*» — последние слова...
С каких же пальцев сняты отпечатки?
Лишь тот, кто невиновен, отвечает.
Зато какое шоу, грандиоз-
но, и оно затоплено в печали:
от «Глобуса» — один — лавины роз
актёр и зритель со слезами преподнёс.

сент. 1997

ЖАР-КУСТ

Был сахарным тот клён.
Стал — пень трухлявый.
Не украшал... И на хозяйский вкус
был тамариск (а пень — ему оправой)
посажен прямо внутрь. И вырос куст.

И зимами, что тут сквозят недлинно, —
в извоях вся, суставчата, как свих,
вершинится кленовая руина
зигзагами ветвей, на вид — своих.

Но не былой осанистый рисунок,
а по изломам древних свастик, дуг,
вот что в себе таит индейский сумак:
стрелец из них нацеливает лук.

В засаде скрыт, и не один, конечно...
Зато, когда весна берет своё,
на каждый сук садится наконечник,
и набухает почкою копьё.

Удары бьют, но не наносят раны.
Наоборот, как бы родясь из них,
вылазят на глазах, нежны и рваны,
охапки листьев, трижды разрезных.

И дальше распушась (ни пня не видно),
накапливают летом ярь и яд.
Тут их курчавость, что на вид невинна,
кого не соблазнит? А ведь — грозят...

И осенью — вдруг из зеленых кружев
как палевым и жёлтым полыхнёт!
Ещё бы — прошлогодний клён на ужин,
чей без остатка тук сжирает тот

куст, опаливший выступы предметов
вокруг себя, кто сам пунцов бывал,
кто делается в ржави — фиолетов,
а в пурпуре ущербном — пылко ал.

Тот жар (тот — куст!) влезает яро в око,
зеницу злыми спектрами свербя,
протуберанец в глаз вонзив глубоко...
— Кленовый прах, не помнящий себя!

Шампейн, Иллинойс, октябрь 1998

ЦИКАДЫ, СВЕРЧОК, СВЕТЛЯКИ

Ольге Кучкиной

1.

Как только окоём и термостат
жаре совместно свёртывают шею,

так целый хор, — нет, целый цех цикад
выпиливает в воздухе траншею.

И этот звук в зазубринах, и взвой —
виску и лбу в облом, а не во благодать.
Свой череп, выгрызаемый фрезой,
прощаясь, нам оскаливает август.

Откуда и зачем такой надсад?
Так режут алюминий, бьют в литавры:
личночно, 17 лет подряд
сидят в земле, не вылезая, лярвы.

Они сосут из почвы, из корней
сосуды темноты, пока не выйдут
на сколько-то всего недель и дней...
Так есть им, что сказать, что ненавидеть!

Воистину, им суть что возглашать:
к примеру, миг, что на излёте лета,
и в нем себя саму, орущу рать, —
продленье рода, окончанье света.

До обморока, до разрыва жил
все в самоутвержденье так едины,
при том, что воробьиный Азраил
уже клюёт им хрупкие хитины...

Сравнимо ль это с тем, что звать: любовь —
томленье, лесь и страсть, взаимный выбор?
И матушке-природушке улов:
ещё на столько лет из мира выбыть.

3.

Тут,
там,
 по влажным кустам
тьма — пых! —
 зеленовато.

На миг
 в половину ватта
свет.
И — нет.

Кто это:
 в бархат одетый рабочий
на сцене
нацелил
 луч слаботочный,
враз
влезши
в глаз?

Там, тут
 великаны невидимо
 светоцелуи несут.

Их суть:
танец темных
огромно-гигантов,
пухлые в небо подпрыги
враскувыр,
где ночные батуты,
барахты,
любовные игры громад.

Взгляд,
обозначенный точкой,

дрожащей у яблока глаза
в углу.

То и чудо, что луг
не затоптан.

Зато:
так
жив
мрак.
Тем
же —
тьмь.

Шампейн, Иллинойс, сентябрь — декабрь 1999

НОМО ЛУДЕНС

Отец его, британец, в «*Morning Star*»
служил едва ль не главным люцифером
и за рабочий класс пером ристал,
бия по мордам лордам-лицемерам.

Я в те года его статьи насчёт
того-сего переводил по знакам —
потысячно — и получал зачёт.
Зачат под тем же Ричард зодиаком.

Болгарка-мать собкором от газет
поехала беременная в Лондон,
и сын двух коммунистов, чуть на свет,
уже Её Величеству был поддан.

И правильно. Вернувшихся в Москву
правительство безбожно баловало:
в цековском доме к ним на randevу
сам царь Никита хаживал, бывало.

Страна для иноземцев — чистый рай,
и мальчик тоже числился фигурой:
с Гагариным захочешь, так играй,
не хочешь — так поссорься с дядей Юрой.

В элитной школе, иль помимо школ,
бывал он заводила-запевала, —
с хорошей передачи крепкий гол,
случалось, толстоного забивал он.

Но подошла, однако же, пора,
и мама: «МГУ», а папа: «*Oxford*»
произнесли. Отец и тут был прав —
там ректор свой, и паспорт — не загвоздка.

Там Ричард стал, как Сердце, львиногрив,
хоть не взыскал ни Гроб, ни Эскалибр...
Но всё ж себе сосватал Лоэнгрин
принцессу, колумбийскую колибри.

В науках тоже виден был прогресс.
Так, изо всех святых и негодяев,
из вязкой почвы (вот где русский крест!)
его привлёк наш чудо-Чаадаев,

чьи изучал он леммы теорем,
чью здравость доказал из переписки
с Гагариным (конечно же, не тем,
а князем, с кем они случались близки).

Семья и степень, выговор иной
и выбор, слишком узкий для слависта...
Степной и чернозёмный Иллинойс —
вот где ему профессором явиться.

Там, где и нам... В глубинке и глуши
варить котёл котельнической жизни...

Кто — почвенник? Кто — западник души?
Отшиться бы совсем от этой шизы!

Взыграть! И точно, ум его играл.
И грива — та же, чуть в посеребренье...
Развод. Роман. Упущенный Грааль.
Женитьба на моей студентке Энни.

Но в череде семестров и недель
он оставался «Буря», то есть *Tempest*,
а, значит, — Калибан и Ариэль
и Просперо шекспировского текста.

От выводов нас, Боже, сохрани!
Не к западу-востоку ведь свелось всё;
различье внешне, так же как — взгляни:
ты — лыс, а у другого — пук волосьев.
Жить, просто жить сквозь годы, ночи, дни —
сложней безумья вашего, философ.

июнь 2002
Шампейн, Иллинойс

НОЧЬ ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА

Лет шести пригодишка,
а как выйдет на эстра...
Даже страшно, странно слишком —
макияж, прожектора...
А ведь баиньки пора!

Но в недетский час играет,
взор зазывно опустив,
кукла, бабочка и краля:
адамантов пыхнут грани,
и пройдёт под мотив.

И зачем? Чтоб кроха точно
только первой быть могла,
побеждать умела прочих:
взять их за-, и все дела...
Даже папу — бла, бла, бла.

Мама, злясь, противно колет;
папочке не пустяки
разузнать, жури какое —
лбы в буграх, а пальцы в кольцах —
с крупной проседью дядьки.

Все свои. Но та их держит,
отрабатывая приз,
сквозь блестящие одежды
и в купальнике, без риз, —
блязнь просвечивает из.

Златоглазка, лилипутка,
поздних похотей мишень,
морок — в мозг и в пах... А ну-тко,
что внутри? И жгуче-жутко:
не машинка ль? Неужель...

То — любовь... У папы прямо
сердце пальчиками брать
можно. Быть главнее мамы!
А ещё и сводный брат
глядит ус и крутит прядь.

Огоньки — деревьев души.
Санта в красном. «Джингл белл».
Из саней — и шепчет в уши:
— Тут ступеньки, ниже, ну же...

(А удавка — уже, туже;
винный погреб ал и бел).
«Джингл, джингл, джингл белл».

Шампейн, Иллинойс, февр. 1997

В КОНЦЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Облака высокого размёта,
будто ангел растерзал
этот воздух перистый за что-то,
в чём завиновател, может, — за

то, что дряхл он, выдохнутый нами?
Разве небо — нашего полка? —
ветхое затрёпанное знамя,
и жемчужится слегка.

Сколько ж было этих гордых тряпок,
треплющих плечо за эполет!
Время тихо их пылило, дряблых.
А теперь уже и нет.

В прошлое сползает век, и выйдя
вон, вот-вот он будет весь.
Раньше разве было время видно?
В нынешнем ещё и — вес.

А к тому — и густота, и крепость...
Крепость? Мы на приступ не пошли.
Перья, вроде, были. Где же эпос,
Кроме как: «А помнишь ли?..»

Скоро встанет солнце, как сегодня.
День, как день, а мир — иной!
Вот они — в тысячелетье сходни:
сальдо в минусе, и ноль.

Потому, должно быть, в высях ало:
облачный размёт и бел, да ал.
Чтобы небо новое настало,
ангел наше растерзал.

май 1997

Шампейн, Иллинойс

ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ

В стране, где Бога называют «Гад»,
но поклоняются другому,
я (— Сколько это жизней-то назад?)
подумал, что пора бы и до дому.

И сразу вырвалось: — А где же он, твой дом?,
и эхом из Ахма- (— И где рассудок?)
-товой. И — твой. Так чем же я ведом?
Толпой поводырей слепых, разде-разутых,

раздрайных, тех, что ЧУВСТВАМИ зовут?
Но чувства (мама — дочке:) не советчик.
Когда-то я боялся, что на суд
притянут за ушко перед лицо зловещих

безглазых лиц, и: — Против или за?
Попробуй-ка ответить против...
А те уже и так вlepили за глаза,
и протокола не испортив.

Но хва— уже об том! Позавчера,
как и вчера, канает устьем в Лету.
А почему ж тогда, могильщик и червяк,
вгрызается в сейчас, в сейчас вот, в долю эту?

Причем, так яростно, что вот ее и нет.
— Скажи, готов ли ты сползти со всем зоном

обвалом вековым, вольясь в его люнет,
болванкою себя ж погибнуть в оном?

Иль среди молодых насмешливых племян
живым торчать анахронизмом?
Да будь хоть киловатом осиян,
найдут, что высмеять. А ты — за все границы

страны ли, века... Нет, еще крупней:
менять, так материк, тысячелетье...
Да можно ли совсем остаться без корней?
Их пусть и нет, а боль совсем не легче.

Страна ли, век... Прощайте, все века,
что прожиты в истории и в жизни!
Когда-то даденные, вышли все срока, —
пускай в забвенье, но не в укоризне.

Прощайте, жены, чей секретный вкус
(и чью открытость) я-то уж изведаль;
и музыка, и музы всех искусств, —
все драмы радостные звука, цвета, света.

Прощайте Женя, Толя, даже ты —
да, ты, Иосиф, наконец, прости же...
Ты — жертва давняя моей тщеты,
как я — твоих амбиций и престижа.

Прощаю вражество твое. Прощай,
достаточно ли нам тысячелетья,
чтоб разминуться? И прощай, печаль, —
не о тебе же я жалею...

Но — Бах, и Босх, и Блок, и Пруст, и Фет,
Марина, Осип, и Борис, и Анна,

Родители, чита- (— Те ли, которых нет?)...
И только жизни — до свиданья!

И — здравствуй! Это я, сгорев дотла:
— Тысячелетье, век, минуту,
которая еще не истекла,
приветствую. (— Но и она минует!)

Урбана, Иллинойс 13 июля 1991

ГОСТЬ

В ночь сороковую был он, быстрый,
здесь, — новопреставленный певун.
Рыже на лице светились искры,
стал он снова юн.

Стал, как был, опять меня моложе.
Лишь его вельветовый пиджак
сообщал (а в нём он в гроб положен):
— Что-то тут не так!

Мол, не сон и не воспоминанье...
Сорок дней прощается, кружа,
прежде, чем обитель поменяет
навсегда, душа.

Значит, это сам он прибыл в гости,
оживлён и даже как бы жив.
Я, вглядевшись, не нашёл в нём злости,
облик был не лжив.

Был, не притворяясь, так он весел,
так тепло толкал в плечо плечом
и, полуобняв, сиял, как если б —
всё нам нипочём.

Словно бы узнал он только-только
и ещё додумал между строк
важное о нас двоих, но толком
высказать не мог.

Как же так! Теперь уже — навечно...
Быв послем чужого языка,
в собственном не поделиться вестью!
Ничего, я сам потом... Пока.

*Шампейн, Иллинойс,
28 января — 8 марта — 11 апреля 1996*

2000

Евгению Терновскому

Делать особенно нечего:
мы уже здесь и теперь.
Небо дико расчерчено,
словно список потерь.

Воздух уже Двадцать первого
(вот какой выкатил век!)
пишет не нашими перьями,
а звуковыми, и сверх...

Пышет, в изломах калечится,
выси свои серебря.
Что ж мы теряем: отечество,
отчество, или — себя?

Или заёмная вотчина
будет скоро без нас?
Вот отчего, или — вот чего
там рисуется знак,

где за полыми числами,
как за краем Земли,
не разобрать, как ни тщимся мы
заглянуть за нули...

Вроде разъятого атома:
колят лучи, а — не свет!
Время — крикливое, клятое,
наше, и вот его — нет.

Там же, 31 марта 1999

ПРЕЖДЕ ВСЕХ ВЕК

Роману и Сусанне Тименчикам

В конце столетий будущее тоще,
скелета нашего тощей...
Откуда же теперь взялась такая толща?
Она — от трёх волхвов-нулей.

Она от нового тысячелетья,
совсем не удлиняя жизнь,
громаду времени куском даёт на-третье:
— Держи, бедняк, и сам держись!

Возможно, в нём и гривенник на счастье
найдёшь в бумажке вощаной...
Достанется ль теперь удача? Хоть не часто,
бывал счастливый выбор — мой.

Казалось бы: теперь что я — фортуне?
Настигла, как благой удар...
Прохладно-тающе вдруг сделалось во рту мне
от праведных «где» и «когда».

В двухтысячный сочельник в Вифлееме
среди местных пастухов не я ль,
Младенца мыслями, как яслями, лелея,
перед вертепом постоял?

Какая толщ открылась в этот вечер, —
хоть в питу запихай, на хлеб намажь:
не время тощее — питательную вечность...
— Так ешьте этот мир — он ваш.

*Иерусалим — Шампэйн, Иллинойс
июль 2000 г.*

СЕРДЦЕ МИРА

Вход откуда-то из переулка,
на колонне слева — шрам
от удара молнии. Сепульхра.
Гроб Господень. Грозный храм.

Каменная туча грозовая:
на коленях у высот,
куполом Голгофу закрывая,
весть отверстую несёт.

Вот она — кувуклия, пещера,
как для Рождества вертеп,
так и тут: через земное чрево
возвращается ущерб.

Сколько ж в ней хранится мрака,
полостей, подземных вод!
Храм, таинственная рака
огненного искресанья ждёт.

Руды ждут, известняки и кости,
ржавчина мечей, кольчуг,
Ричард Львиносердый, Готфрид Готский —
чуда, что и я хочу.

И туда заходят сарацины:
каждый в коже, в паре джинс,
сотово и самочинно
к смерти подключают жизнь...

...В глаз вонзается внезапно
сполох света, микро-спазм,
пилигримов отшатнув назад, но
и вперёд, чтоб спас.

В ночь Пасхальную того и вяще
ждут росы со облак, с гор,
вещие к ней тянут свечи,
чтоб сработал пирофор.

Вспыхивает, и — «Христос Воскресе!»,
и — «Воистину Воскрес!»;
сущим во гробех благие вести
слышатся окрест.

И — вот-вот раскаменеют кости,
заблестит ржавь мечей,
Ричард Львиносердый, Готфрид Готский
выйдут чрез раздавшуюся щель...

...Нет, увы, не станет былью небыль,
не зарозовеет жизнью прах:
потому ли, что огонь не с неба,
а из лавки на задах?

Здесь перед святыней сцены:
сделка, выгода, азарт,
ездят друг на друге сарацины,
празднуют базар...

*январь 2000 г. — май 2002 г.
Иерусалим — Шампейн, Иллинойс*

ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

Начинается тысячелетие жёлтым
лучом за облаком полуседым.
Гривны, стало быть, уступают золотым,
а секунды серебряные — золотым.

Наконец-то за ускользающим Завтра
погоня закончена. Оно — сейчас:
жёлтое в этой застёжке рюкзачной,
козырьке, куртке, разрезе глаз.

Манго-банановая Пальмира,
зеленеющая в голубизне!
Её, раскинувшуюся на полмира,
мыслимо ли разглядеть извне

до оранжевой сердцевины,
откуда розово истекает родник...
Видимо, кровушку, как они ни цивильны,
будут пускать и при них.

Уже и при этих вот, ярколицих.
Кто она — афреянка? Он — америяп?
Невероятные, — что ни случится,
выстоят, — каждый в костях не слаб.

Наше дело — помахать им ладонью:
— Вот вода и воздух, — мол, садись, володей...
— Здравствуй, незнакомое, молодое
племя, похожее на людей.

Там же, апрель 2000

ПАМЯТНИК В СНЕГУ

Анна! Опять она молодая,
вполоборота, и — о печаль —
шаль её бронзовая, ниспадая,
обнажает бронзу плеча.

Плеча ль, ключицы, всей стати, или
сам голос, наверное, бронзой стал,
и былые слёзы её отлились
в слова, в славу, в этот металл.

Вон там, напротив, она стояла
с передачами (сын — в Крестах),
и застывало клеем столярным
время тягучее, течь перестав.

Но внезапно прошли века... И —
тысячелетия! Я жив пока
и помню серое око и карий
ржавый веночек вокруг зрачка.

Как оба ока зорко смотрели!
Из того и сложилась простая весть:
Анна Ахматова — в снегах метели,
гость из будущего — это я и есть.

*Шампейн, Иллинойс
дек. 2007*

ЭЛЬ НИНЬО

Вдруг у матушки в утробе тёмной
тихоокеанской глубины
вспучит голубые мегатонны,
водорослям расколеблет льны.

И в минуту отзовется длинно
и niskосок пересечёт
(это вот и есть Эль Ниньо)
глуби, дали воздуха и вод.

Видно, пузырьём подземной плавки
где-то в плазмах варится беда,
что лишь океаном и оплакать...
Вот она разбухнет и тогда

лопнет и распухнет экватор,
сбой, болтанку даст земная ось,
облака нашлёпнутся, как вата
влажная, на всё, куда пришлось.

И лучом не мнимо и не мимо:
прямо из — озонных дыр бул щыл —
убещуром в глаз разит Эль Ниньо,
движитель тайновраждебных сил.

Засухи с потопами сомкнутся;
глад и мор, и трус, и крях, и верть,
соль и пыль с кровососущим гнусом, —
то-то бы снаружи посмотреть!

А когда все наши песни спеты,
то ещё под занавес, и сверх —
жутко пукнет Попокатепеть,
и начнётся новый век.

Там же, октябрь 1997

НЕБЕСНЫЕ ВРАТА*

1.

Калифорния, не ты ли?
Травы злые, золотые...

И стройнее нет, чем там,
пальм. И — вычурнее тайн.

Тектоническая складка
залегает горько-сладко.

Значит молод мир. Вперёд
материк ещё плывёт.

Ну, конечно, не назад он, —
Новый Свет ползёт на Запад.

Под водой и в горных швах —
сдвиг; и — в душах, и умах!

Свих и крах. О том и мета:
шрамом по небу — комета.

Миру в морду — шварк в нашлёп,
чтобы помнил: Хейл-Бопп!

— Мол, к 2000-му году
лишь в утиль он будет годен.

* Название калифорнийского культа, члены которого, высококвалифицированные программисты, отрицая земные радости, верили в высшее компьютерное существо, которое спасёт их, прилетев на космическом корабле. 26 марта 1997 г., приняв за небесного посланника новую комету Хэйл-Бопп, названную так по именам открывших её астрономов, 39 членов секты вместе с их главой «папой Доу» покончили с собой в Сан-Диего. 2 дня спустя к ним присоединился последний, колеблющийся член секты

2.

Ко мне, обиженные дети,
кому, неважно, — 20, 50?
Я знаю то, что нужно сделать,
я в одинаковое вас одену,
и буду маленьких моих качать.

Кто недолюблен мамой, боссом
и даже Джессикой (какая боль!),
тому я дам, пока не поздно,
врата в блаженство, совершенный способ.
Не то, что эта дрянь — любовь...

Есть истинно духовнейшие дали!
Любовь — лишь близость, гадость, слизь.
Ты тянешь мысли книзу, пол-предатель?
Я нежно вырву из тебя придатки,
и запрокинемся мы ввысь.

3.

В содроганьях андрогин,
взглядами вливаясь в очи,
превращается с другим
головами — в череп общий.

И — ни тени! Мги да зги
меж висками осиянны;
из глазниц видны мозги,
светозарные, слоями.

И в извилинах зия-
я, мне ты оттуда светишь —
совершенное сверх-Я,
всеобъемлющ и всеведущ.

С миром мы, как будто в мяч,
В пёстрый шар наук и знаний,
звонко выиграем матч,
если мы — с тобой, ты с нами!

То, что мир вмещает, и
больше — то, что не вмещает, —
это всё и будешь ты:
Ты, вращающий мечами

пламенными — серафим!
Или — инопланетянин,
или мыслящий сапфир,
с кем и мы иными станем.

Надо только, не скорбя,
вольно и со всеми в сборе
души выдохнуть в Тебя.
Дверь захлопнув за собою!

4.

Иди сюда — тебе почти не будет больно.
Ну, только чуть...
Я на сверкнувший гребень хлорно-борный
с тобой взлечу.

А дальше — ты (как сами вы же и решили):
развоплотишься в ноль.
Распотрошу, сгрызу хрящи и жилы, —
ты станешь мной!

В совсем ином (и в самом истинном) составе
моих частиц
ты узришь сны превыспренние въяве,
планеты числ.

Сквозь нас, ужасных — ураганы, электроны,
и миру в лоб
Армагеддон вкроится, или кто он? —
иль Хейл-Бопп.

Два теле-толстяка, открывшие комету:
— Мол, эври-ка!
Молчали бы, не знаячи, про эту,
сию, пока...

Сиянье это — тень. Её отбросил Некто,
Тот, за сияни-ем.
И 39 душ на борт объекта
идут за Тем,

Кто экипажу пересчитывает души,
но нет одной.
А вот и он, мертвец полузаблудший
спешит, 40-ой.

Шампейн, Иллинойс, июль 1997

ЗИЯНИЯ

Разрывная рана, и — Нью-Йорк!
Я бывал, где дырка от неё,

раньше, хоть и не часто:
там вишенка из коктейля
мне скушаться захотела
на счастье.

И — только в том удача или чудо,
что жив, но вижу сквозь экран,
как Мухаммед Атта влетает ниоткуда
и — рвёт на буквы город и Коран.

Смерть собственную — о другие!
Рай искресает он об Ад, о — страх...
И мыслящие черепа
размалывает на погибель,
в бетонную труху, в субстрат.

В стеклянную крупу, в железные лохмотья...

Откуда мне знаком руинный вид?
А — в первый тот наезд в Манхэттен,
в миг: — Ах, вот он! —
с боков — некрополи стоячих плит
и вывернутый взгляд
на град
с наоборотом.

Нас нет, а памятник уже стоит.

Да, гордый город был.
В минуты сломан.
На колени, словно слон,
пал, которому вдруг ломом
в лоб вlepили наповал,
на слом.

Банк! И метит в мозг ему мечеть.
— Миллиард отдам, спасите только!
— Где ты, Супермен? — В параличе.
И — из пекла — вниз, сквозь стёкла:

падают, суча ногами, мчась...
Кнопку бы найти на пульте,
отмотать бы жизнь назад на час,
в памяти стереть: — Забудьте!

Там бы и мне кончатся,
где вишенка из коктейля
скушаться захотела.

Враз, в одночасье!

Здравствуй, тысячелетие
и несчастье!

*окт. 2001 г. — 2006 г.
Шампейн, Иллинойс*

ГИБЕЛЬ «КОЛУМБИИ»

Там человек горит, и вот — сгорел.
Семь человек сгорели.
Обломки корабля, огарки тел —
земля хотела бы скорее.

И стряхивает их надмирный горб,
(дымит от этих букв бумага),
и мог бы Супермену — Святогор
помочь, но как? Земная тяга

такая, что ему не взять.
Скользят и руки у Атланта.
И ясно, что и было-то нельзя,
но и — не улететь обратно...

На высоте последний возглас «Ба!»
был заткнут воздухом стотонно,
и с неба пала яблоком судьба,
как у Нью-Йорка, нет — Ньютона,

нет, у — летучих: и мужей, и жён,
что утром там сгорели!

И сны горят: ведь невесомость — сон
над пропастью и в ускореньи.

Ещё живых костей и тверди — весь
вдруг навалился разом
расплавленный и неотвязный вес,
и лопнули корабль и разум.

Сквозь плазму нам теперь летать ли, нет?
Глядеть нам долу ли, горе ли,
и рваться ли из тягот и тенет?
Там человек ...
Там семеро сгорели.

Шампейн, Иллинойс, февраль 2003

ВНЕЗАПНО ГОЛОС...

Вид обесточенного монитора
невыносим для меня.
Я — торк!
И тут на лице его монотонном,
северозападном — юговосторг.

По сети сияющей паутины...
Посещаю...
Шась — и в машинный мозг,
мышью в занавешенные притины,
отомкнувши клавишами замок.

Я брожу, пытаю мой путь и тычу
(методом ошибок и проб)
в нечто почти насекомо-птичье:
эйч-ти-ти-пи, двучоье, двудробь.

И заимствует ум
у зауми то, что
было б Кручёныху по нутру:
даблью, даблью, даблью.
Дот (точка).
Комбинация букв. Дот — ком?
Нет — ру!

И — в некое не совсем пространство,
где ветер — без воздуха, со слезой,
где чувству душно, уму пристрастно,
а с губ не слижешь ни пыльцу, ни соль.

Но так ярмарочно-балаганны
выставляющиеся здесь напоказ
виртуальные фокусники, хулиганы,
стихоплёты и грешный Аз.

Где хватает за полы товар двуногий
с бубенцами,
цимбалами на пальцах ног:
нагие юноши-единороги
и девы, вывернутые, как цветок.

Это — Индия духа? Африка хлама?
Гербарий чисел, которых нет?
Наступающего Армагеддона реклама,
или пародия на Тот свет...

А не это ли часом и есть он самый,
где от счастья смеётся трава, —
Рай?
Или: «Откройся, Сезам», и —
Ад,
где — гумилёвский «Трамвай»?

...Внезапно голос, вне его тела,
запел не о смерти, но о той,
что чайкой в сердце ему влетела
и, тоскуя, мучила красотой.

Незадолго перед концом и,
как бы чужая, что всё — тщета,
эту рыцарскую канцону
На валик с воском он начитал.

Артикулировал, даже выл, и:
«Мне душу вырвали» — он горевал.
Между Ржевкой и Пороховыми
вырыт ров и накопан вал...

Да что они могут, эти власти
против него, стрелявшего львов, —
изгнать? казнить?
Конечно, несчастье...
Но неодолима его любовь.

И да возносится ей осанна!
И пускай оперённо летит строка
по другую сторону
смерти и океана
и, вот оказывается, — через века.

*ноябрь — декабрь 2002 г.
Шампейн, Иллинойс*

ЧУВСТВО ОГРОМНОСТИ

Когда б я был размером, как Уолт
(в штанины человечество запрятав),
я б только пасть раскрыл, и вот

весь гамбургер Соединённых Штатов
сам бы полез мне в рот.

Взяв бережно его за побережья,
я б отхватил здоровый кус
от Южной части. Там он переперчен,
да не перечит пряности мой вкус.

Когда глядишь на Шар по-великански,
совсем не тесен он — велик,
что здесь, что где-то там, в Волоколамске,
где в полной силе, где в хромой коляске, —
и в пестоте не однолик.

Когда б Владим Владимыча мне в грудь
(не педофила, не чекистократа,
а главаря, что был горласт и крут),
открыл бы рот громадно и квадратно:
— Россия, человеком будь!
Нельзя ж обратно...

А то — силён, летуч и скор, и спор —
в плаще и майке Супермена
разглядывал бы Рашеньку в упор:
там, будто, назревает перемена?
Но — нет, и вязнет в почве Святогор...

И недовольны оба — наш и тот.
Что ссоритесь, огромные ребята:
Кому-то — пепси, а кому — компот?
В лапту сыграли б лучше брат на брата,
авось, подружитесь, — а вот
чужим злодействам стал бы окорот.

Когда б дошло до адресата!

Шампейн, Иллинойс, окт. 2007

МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА

Своим
 не хватило, —
о будущих людях жалеем
и делимся сердцем:
«Дряхлеет Светило,
и станет Земля мавзолеем,
а в нём
 не согреться».

Свой век торопили:
«Ослепнем в потёмках,
когда энтропия
сожрёт и сердца, и ресурсы...
И — будем в потомках
 без Солнца.
Тут всё и стрясётся.

Стрясутся
 все худшие беды».
— Но хватит об этом!
И лучшее средство
от смерти
огромно восстанет:
Всемирное сердце
ответом и светом
из тени и тайны.

Взбираясь на
 на дикие кручи:
«Всё — в лезвиях, в крючьях,
как витязь?»

Всё — в протуберанцах
и пульсах, —
на горе, нагое, на радость?»
— Дивитесь!

Пусть
будет сегодня:
глаза миллиардов глодая,
на небо субботне
зардеться
взнесётся
звезда молодая
по имени Солнце,
по имени Солнце,
по имени Сердце.

Там же, 27 апр. 2002

ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ

На западе сердца
бродит сияние:
на западе солнца —
пульсов слияние,

громосмещение,
коловерчение.
Вся жизнь — мишенью,
жертвой вечернею...

Или во взмахе
молний, в бреду ли
Сафо с Ахматовой
любовь придумали?

В строку двухстопную
войдя внезапно,
бык-бог Европу
везёт на запад.

Валы Атлантики
встают атлетами
и опрокидываются
акробатами.

Нимфы прихоти
скотьи похоти,
на Западе слуха
дальние грохоты.

Ритмов двоение
и единение:
эхо-зеркальце
в стуко́те сердца.

И близко — сколько их! —
почти как в фильме:
быстрые, скользкие
прыжки дельфины.

В пенном ропоте
валов немерянных
бык Европу
везёт в Америку...

(Вычуры похоти,
божьи прихоти,
ражие выходки
с рыжеватую!)

...Где на ложе
она возляжет
с материками
Америк схоже, —

исполнить меру
и в рифму спеться
на западе мира,
на западе сердца.

Там же, май 1999

ЛЕДИ БОИНГ

Высоко пепелится
белёсый по синему след.
Летит неотмирная птица:
то ли есть она, то ль её нет.

Просто ль сунута флейта
Ариэлю для губ, чтоб играл,
или, может быть, это
мозговой мой изгиб, интеграл?

Вот и след разметало
по периметру бледных небес, —
сплав пластмасс и металла,
дух из бездн?

Не скажи, миллиардная штука, —
мы летали не раз.
Неужели ты кукла, ты шутка,
неужели не гулко и жутко
сердце бухало в нас?

Залетая
за оранжево-жаркий рубеж,
золотым залитая,
жёлто-рыжей ты делалась, беж.

В мега-игрища мозг вовлекая,
гуляла в моей голове.
И, лелея твоё великанье,
как любил его я, Гулливер!

И откуда выпрастывал силы?
А землились мы с ней
мимо белых и синих,
чуть не чёрных огней.

Мимо тёмно-хвостатых
оперений наш плыл фюзеляж,
оставляя гигантку в остаток:
— Слазь, летатель, — земля ж!

Разорвала разлукою тело
на четыре огня
и в ядре громовом улетела
от меня.

Там же, янв. 2004

СТИХИ ДЛЯ ЮЛИИ

Эмиль Бурдель, поклонник Айседоры,
поймал неуловимую пером,
нанёс порывов бурные узоры,
извивы тела, взмахи пройм

одежд летучих, завихренья, складки,
способность в мановении любом
застыть, как миг, и гётевский, и сладкий.

Листы он переплёл в альбом.

Там розы рук растут пучками жестов,
и лилии босых и сильных ног
цветут о чём-то ни мужском, ни женском
(Сергунька это разве мог?)

Дух чуток в резвом теле, но бессмертья
у плясок нет, что линия хранит,
она мгновенья нижеет, разумея
времен связующую нить.

«Лублу» — сквозь сон и смутно, и картаво
лепечет тёплая творцу, а он
в мозгу клокочущем родит — кентавра?
Героя? Вот — Геракл, Хирон...

Когда же плавка пламени достигла
работать с ним — литейщикам беда!)
он в тигель из какого-то инстинкта
снял с пальца перстень, и — туда.

Из бронзы оба. Но один поранен
стрелой другого. Яд втравился в медь.
Он двуприроден в этой древней драме:
бессмертный, хочет умереть.

Французский парк средь кукурузных прерий...
В конце аллея, как жалоба, как бред,
бессилен, большерук, глаза в страданье вперив,
стоит кентавр. Автопортрет?

Шампейн, Иллинойс, окт. 1997

QUAD

За что перипатетику награда,
привал и батарейкам подзаряд,
очков моих двухфокусных услада:
юнцов, юниц осмысленное стадо,
и вокруг всего — архитектурный сад?
Нет лучше места для меня, чем квад.

Нет лучше луга на Земле, чем этот,
чем тут — под бобрик стриженный квадрат,
согласный звон курантов и брегета,
расчерченных дорожек перехват,
где дико мчат (кому там чёрт не брат?)
на роликах, на досках, до обеда...

Стремительны, особенно с утра, —
дезабилье, и — мимо бронзуляков...
Им — Alma Mater, мне она сестра,
пускай от предыдущих браков,
что заключал здесь росчерком пера
масонский Исаак или Иаков.

Ведь у Труда с Наукой — чем не брак?
А что у Прилежанья с Просвещеньем?
Да, университет не для гуляк,
за что такая доля вообще мне?
Я дам намёк для любопытной черни:
скорей за что-то, чем за просто так.

В чести здесь и учёность, и таланты.
Вот жёлтый лист зажётся, как фонарь, —
не новая метафора, — да ладно,
вот рыжий, вот лиловый, как Боннар
или Синьяк... И осень, — жар и ярь
в листве малюя, — киноварит пятна...

И кампус так оранжево чреват,
как лицами — толпа, всё не привыкну:
Шанхай, Бомбей, Багдад (хоть не бомбят!),
а то ещё придумали новинку —
объятья просто так, и — нарасхват!
И я туда ж, — по-малу, по-велику,
а свил себе гнездовье, поелику
люблю я полдень, бой курантов, квад.

Люблю. Но есть какая-то надсада
на самом дне — чего? — души, ума
по поводу того, что так бы надо
в стране, где много лет меня нема.
Вот так бы... Да куда там! Поздновато.
Ученье — свет, а неучёных тьма,
да там и нет ни кампуса, ни квада.

Шампейн, Иллинойс, ноябрь 2005

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БОГИНЯ

Ах это, братцы, о другом...
Булат Окуджава

Фонтан иссяк. Бегуньими ногами
уже не подмывается в воде
предмет острот, охотница нагая.
По холодам — какое там бидэ...

С утра да с недосыпу — не до шуток.
Студёно занимается студент, —
ну, точно, как заря. А в промежуток
меж тусклых зорь ещё корпеть, сидеть...

И впрямь — куда все девы подевались?
Одна, и то с трудом, глядит из бронз,
как на неё косит преподаватель
украдкой... А о чём он там? Вопрос.

О том ли, что заигрывать с богами
опасно посе́йчас, что вечен миф?
Или об: — Эх, махнуть бы на Багамы,
и — жизнью — в брызго-визговый подмыв!

Не то — весной. В девчёночьем обличье
разоблачит богиню только лавр,
да сногшибательно надетый лифчик
из лавки. И регочет бакалавр.

Всех степеней в кустах сигают белки;
набравшимся наук — равно теперь,
где прыг преподавать — в Иейле, в Беркли,
иль тут средь кукурузных степей.

И наших — тьмы; теперь, все — за, все — Запад,
а если кто-то в чём-то и Восток,
то лишь в нахрапе лишнего нахапать.
Ну — в точности: пушок-мешок с хвостом.

И туго целясь — за срединным лугом —
в дичь дисциплин, карьер, литератур,
герла чумная — бестетивным луком
пускает стрел отсутствие: ату!

Страшна ли — попечителям — богиня?
С их многоглавья волос не падёт
полуседой, с подкраской... Хоть погибни, —
по заведённому пойдёт.

И пусть. Ещё глаголом припечатать
для вящести. Да в этом что-то есть:
лук — в левой. В правую — ей дать початок.
Америка. И есть чего поесть.

Шампейн, дек. 1992 — май 1993

ТЕАТР ТЕНЕЙ

1. Птичь

Тень белки прыгнула на теньевую ветку,
качнула тень листвы,
и, взвившись вверх, её пушистый вектор
(сквозь потолок, и — прочь), увы,

оставил эту сцену без артиста,
где, к свету вашему спиной,
я, с утреннею кружкой брандахлыста,
играю в мир иной,

в тот край, откуда, коль попался,
никак — ни в дверь, ни из окон
не выпростать себя, лишь безопасно
внутри лезет лиственный дракон,

сквозит, елозит лапами, терзая
мою бесчувственную тень
(былого, но облезлого Тарзана)
среди лиан и стен,

где остаются действия в зачатке,
с чего и барахлит сюжет,
цвета (все, кроме белого) зачахли,
а звуки вроде нет, —

то вдалеке церковные куранты,
то трель сверчка вблизи, и — тишь;
над головою иволга двукратно
свою высвистывает птичь:

— Птичь-птичь, — звучит посланье пташье,
как память быстрая о ней,
и обо мне пускай примерно та же,
что весь театр теней,

в котором ни к чему о славе тщиться,
в столетях бронзоветь,
скорей о чём-то дюжинном и чистом
поставить водевильчик, ведь

забвенье всех поглотит — позже, раньше —
но тут, пока не кончена игра,
его жерло щадит, не пожирая;
а, видно — не пора...

ноябрь 2004

2. Тень Кикапу

Было время, и племя, и пламя,
а теперь и не встать на тропу,
только шкуры палёные с нами,
топот, бубен да тень Кикапу.

А когда-то, крылаты и вольны
(лук натянут, приглашен костёр),
мы играли бобровые войны
у прозрачно-зелёных озёр.

Петушиное хрипкое слово
«гаггл-гуггл» клокочет индюк,
и к заклятию жертва готова.
Уподобься, ты с нею сам-друг.

Раньше профили были пернаты,
а теперь и не встать на крыло,
да и крылья у нас переняты:
на вершок, а уже тяжело.

Проиграли и воды, и земли,
и рогатые груды зверей,
и лесную апрельскую зелень,
и осеннюю прелесть, и прель.

Но заклили, чтоб всё — как из пакли,
соловьи бы не пели, чтоб там
ни сирени в оврагах не пахли,
чтобы пума — всегда по пятам.

В мех укутали кости нагие;
у кострища — гремушку змеи,
свист орлана и чад аллергии,
и на картах названья свои.

Потому что уже и не ново:
небоскрёб к небоскрёбу впритык.
И от них остаётся лишь слово
в переводе на лисий язык.

дек. 2004

3. Тень Иллайнавека

Удар — и в цель!
Счёт, вроде, вровень,
рот Зевса-стадиона в рёве:
меж двух воздетых мачт
влетает удлинённый мяч.

Ну и прицел у паренька,
и — с твёрдым гаком!
На поле выбегать пора и зажигалкам
и, юноногим, руки воздымать
с блескучими сферолучами,
пуф-пафами, свои подки-
дывая пятки и носки,
и мы, где личики, где голые пупки
уже не различаем.

Орём, орлы или орланы,
от пива и азарта в лошадь, в дупель пьяны:
— Давай-давай,
дави-дави, Иллайны
синеоранжевые, словно этот штат:
в бою, шеломы сдвинув, мяч достать!
Но — стоп, стон труб
и взывы саксофона, взбряки марша!
Враг — труп.
Победа, может стать, наша.

И в тот, *ex machina*, момент,
выходит Вождь
(умри, заткнись, аплодисмент,
даёшь

лишь тишь, да бухи бубна,
да барабана дробь, нет — дрожь),

не дух, не человек —
Иллайнавек!

Пернатый, в замшевой пижаме,
сам босой...
Он скачет гордым клоуном, пожалуй,
восходит месяцем, а падает росой.

Зев стадион отверз, почти зверея;
противника — хоть ложкой ешь!
Но правильно ли это с точки зренья,
не переступлен ли рубеж?

А то как самозванные Иллайны,
торговцев и рабов сыны,
наследуют священные камлання
кровавой старины?

Нет, нет и нет!
Сморгнул, как будто, свет.

Теперь с такими же боритесь рьяно-бодро,
чтоб нараменники трещали,
чтобы бёдра
с локтями склезились,
пускайте свечкой мяч...
Ваш Вождь уже исчез невосполнимо,
а потому проигран матч.
Удар — и мимо!

январь. 2005

4. Силуэты слависток

Две учёные девы
обледенели в академическом мире
среди серебряльных высот;
кто-то розов из них, кто-то вконец полосат
(звёздных среди оных не водится),
кто-то, коль сразу не обе, а то и — четыре:
стукач и сексот.

Это, впрочем, неважно, что верх и где низ,
важен (и лаком) один, как «Засахаре кры»,
как любовное «Чмо», как орех на двоих,
— Модернизм!

Как сладёнам его поделить?

Надо грызть или грызться,
в гузно вцепившись другим и друг дружке
грозно, грязно, гораздо — наотмашь, и в пах,
обличая двуличье и грех

их всех:

вовлекая нежных учащихся, администрацию,
церковь автокефальную, синодальную,
епископальную и, пропуская куранты иных конгрегаций,
жнецов, трясунов, крестоносцев,
чёрта в ступе
и целый пожарный расчёт.

— Ну зачем же нам, душенька, грызться?

Мы же не Йейле, не в Беркли,

мы же не белки —

те в сущности крысы в мехах,
в гипотетических бриллиантах.

А мы — при своих.

Лучше нам замочить конкурента
в крови некорректности, —

этого вот модерниста,
бубнововалетчика, ослохвостиста,
лучиста:
дать пельмешек ему заглотить плесневелый,
изгрызть самого,
смести его в прах и в пуху обвалить,
со студенткой неплохо б застукать,
и — под суд.
Под асфальт закатать
и проехаться после,
эх, с кандибобером прямо на Брокен,
а после — на пенсию.
Кончится песня, —
мы те же, мы — те...
Но мы — тени.

дек. 2004

5. Тень Кихота

Величие — вот мера великанов:
не сердце, не звезда, не куб.
Величье — главное лекало,
чтоб человека вовлекало
кроить их одномерный культ.
Всем прочим — каракурт.

Высокопарны великаньи башни,
грозятся грохнуть с вышины;
замашки чародеев рукопашны,
им, даже дань отдавши,
все должны.
А кто не должен — те смешны.

Вот тоже, на седьмом десятке рыцарь
и жалок, и смешон:
не шлем блестит, а тазик, чтобы бриться.
Смеётесь, что не брит при этом он,
а ваше не в пуху ли рыльце?
Но истинно он рукоположён!

Так потряси ж копьём, иль пикой бранной,
старик, дурная голова,
пришпорь одра, прими ушибы, раны,
и крахом докажи, что великаны —
лишь мельничные жернова,
жующие слова, слова, слова.

*СПб, 2-ая линия ВО
18 июня 2005*

6. Цветотени

Самые яркие — это афроцветные
тёмные криминальные тени.
Им, конечно, все тернии
от и доныне
даны,
потому как и в вишенном, и в вашингтонном
цветении
всё равно никому не равны.
Ибо — в прошлом — рабы.
Ибо и в настоящем — былые — рабы.
Да и в будущем рабьего им не избыть.
Раб — значит, прав; значит — брать,

но при этом, калясь от стыда,
отвергать,
как брюхатую чью-то невесту,
чужое равенство,
не говоря уж — ах, бросьте! —
о братстве.
Вот свобода, пожалуй, пригожа:
с амвона, вращая глазища, стращать,
рэпать, хлопать в ладоши до дури
да дурь предлагать
без подлога
якобы просто так или в долг.
И вдруг плюнуть в родную же рожу
свинцом из бульдога!
И — в клетку на годы (вот — дом!)
с мячом и корзиной, апелляцией,
унитазом и пересудом.
И летальной инъекцией кончить
в присутствии пристава,
понятых и врача...
Или — на смех — прославиться
и, по ночам во вселенной торча,
выблескивать небывалые прежде созвездия
Саксофона иль Трубача,
на гастроль в жизнь былую
лишь изредка *ездия*.

*СПб, 2-я линия ВО
7–8 июня 2005*

7. Шахидка

Крадётся вдоль стен отрешённо, дискретно, секретно,
в обход милицейских рогаток и раций
и, словно строка из Искренко,
грозит разорваться,

грозит, но и требует внутрь: «Пропустите»,
и все расступаются перед
эпитетом, тропом, тротилом, пластиком,
хотя и не верят,

а жизнь, закружась, как базарная площадь Минутка,
до Грозной секунды,
услышит, как та детонатору скажет: «А ну-ка!»,
и воздух лоскутно

рванёт; у людей лопнут лёгкие и перепонки
(оглохнут и ахнут),
тормашки кровавые небо наполнят,
и вместе — к Аллаху,

Кто день этот пологом звёздным окутал,
а ночь облачил вдруг лучами.
Кто всё заменил распорядком, законом и культом,
а гибель — началом,

Кому наши муки и страхи, такие делишки,
как, скажем, ожог, ампутация, рана,
не всунуть в Его совершенства — излишни —
ни в суры Корана,

Кому даже вечность — лишь буква из текста Завета,
и целого нам не домыслить,
а наша душа только искры пускает по ветру,
да шина дымится.

Шампейн, Иллинойс, март 2005

НА ВЫРОСТ

«Били руками, ногами, палками. Сотруднику МЧС
Дмитрию Бобышеву, совершившему попытку побега,
отрезали голову двуручной пилой».

из Интернета

Вы умерли. А мы не умирали?

Стась Красовицкий

Да с детских лет и многожды. Недаром,
кто под бомбёжкой побывал,
тому всё бьёт по темячку подвал:
и в подсознании, и под Краснодаром.
Хотя Люфтваффе в цель и не попал,
ты всё живёшь кадавром.

А это вот — за что тогда? За то, что
ты с однокурсницей, едва
смеркалось, шёл Сталиногорском-2,
и — в бок тебе бандитская заточка,
(гуляла круто местная братва), —
ты в печень мечен был, почти что точно.

Почти, да не совсем. И, вероятно,
то — хлястик, соскользнувши, спас.
Но просыпался ты потом 100 раз

в поту от этих вариантов:
останешься — убьют, сбежишь — ты трус и мразь.
Хоть посадили их тогда? Наверяд ли.

А то вдруг за звонком звонок, в запале
— Ты жив? — за свой же, в кои веки, счёт
Рейн любопытствует. Сам по себе? Едва ли.
Там слух пошёл — меня «почившего» насчёт.
Для некролога цифры проверяли...

А то: ты — я. Однофамилец, тёзка,
ну, Дима Бобышев на службе у Шойгу.
Чеченцы — люди. Брату, не врагу
постелят мягко, спится жёстко.
Попался в рабство. Скручен был в дугу.
Рыл схроны. Жрал навоз, извёстку.

Был бит. Вскипел, и — в ухо Зелимгую
Ахматову. Но тут Ахматов-брат
на козлы повалил тебя (меня) в обрат.
Двуручную пилу схватили ножевую
и, словно чурку, прочим на погляд
по шее распилили наживую...

Такое прочитаешь: ну, не слишком?
Не слишком ли? Пилить живого — чтоб?
Ахматовы, к тому же... Где мой гроб?
Обидно, и до слёз ведь жаль мальчишку.
Дождался мой на вырост гардероб:
сам лягу и захлопну крышку.

Шампейн, Иллинойс, авг. 2003

ПОДМЁТНОЕ ПИСЬМО

На будильнике 8,
а на ветках напротив — закат;
сообщение «Осень»
здесь на всех мировых языках.

Полагаю тот клён полиглотом,
да и я на чужом норовлю.
Много наших уже полегло там,
на подходах к Нулю.

Молодых даже больше.
Вот у них и пышной саркофаг,
громче ропот: «За что его, Боже?»,
нестерпимей сам факт.

Закругляя у жизни периметр,
и не это ещё говорят...
Если жил, значит принял
неприглядный жестокий обряд,

симметричный зачатью,
никого не достойный, ни нас,
ни Творца — за не знаю что — счастье
на минуты, на час?

Нету в кронах — ни впрах — полыханья,
кроме: «Выхода нет».
Время — только дыханье
для таких, вроде нашей, планет.

Где же осень тогда, и зачем? И —
для чего всё цело?
На оранжево-жёлтые темы
оскользает, виляя, стило.

Но гляди — как в разлапом конверте,
что мне под ноги лёг,
клён о смерти
посылает бестактно намёк.
Что ж, посланник!
Преждевременна может быть весть...
Мы и в сурах исламных, и сами,
а себя осязаем, как есть.

Нет? И, как ни жестоко,
ангел с бензопилой скажет: «Вжжжжтть!»
Сколь отпущено, столько («стоко»)
нам и жить.

Шампейн, Иллинойс, сент. 2003

ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ

От фужеров, от — дзынь! — с юбилярами
рвался в пропасть, которую он
звал то Хельгой, то Ольгой, то Ларою
облапошенно, вусмерть, вразгон...

Да конечно влюблён, что опошлено.
— Перекличу слова, как Адам,
но тебя — их с ухмылками полчищу —
ребряную мою, не отдам.

— Почему, ради швали и убыли,
даже ряженым обликом лги, —
как по делу куда, не подумали б:
прорезиненный плащ, сапоги...

То, что любящим — веянье вечного,
подглядывшему — низость и грязь...

Что ж грешнее и что тут увечнее:
нагость их или тот наглый глаз?
Мчался Вертером, ветром и Фаустом,
на заборы косясь: не следят?
Тыкал в тело навыхват ухватистым,
эксгумированным, как солдат.

— Почему: что для любящих высшее
или как-либо с высшим на-ты,
то позорится, на люди вылезши
через под наготы-красоты?

Обнаженьем омыв унижения,
сняв касанием всю эту ржавь,
удивлялся себе ж: — Неужели я
и любим, и ещё моложав?

Ведь она, как не знаю, — соломинка,
и распахнута без экивок,
вся — охалка сияния ломкого,
теплоты и расплыва глоток.

И ладонями, пальцами зрячими
всю до сердца её прозирал.
— То — душа этим телом означена,
Это ж твой, идиот, идеал.

— Так рисуй! Но не слёзно-щипательно,
а как если б совсем не знаком:
то, что выпукло, — кистью и шпателем;
волосянку — всегда колонком.

Рисовал, и совал, и размазывал,
в ухо — глупости жарко влагал,

обожал её розовым разумом.
Даже имя лизал по слогам.
Звук ли, абрис ли? — Охра горшечная,
что скрестил я с текстурой холста, —
ты сестра мне по жизни, ты — женщина,
выйди в поле пустого листа.

Пусть отравятся все — и по-разному...
Но, отправясь к иным берегам,
я красу на прощанье отпраздную
и — такую — пуцу по рукам.

ВЛАДИСЛАВ И НИНА

Стон: — Нина! Ну вот мы и вместе.
Ты тоже лишь нуль земляной.
Теперь уж не смей — и не змейся,
как негда, бывало, со мной.

Тебя я, как ты, не покину.
А ведь оставляла меня,
и видел я выю и спину
в рассвете безлюбного дня.

Я сам, этой твёрдой науки
усвоив низы и азы,
в её круговые поруки
ввязался обрывами уз.

И разом для нег и на пытку
готовилось — эдак и так —
и тукало, тычась к напитку
любовному, сердце-кулак.

Лета улетали, все — в Лету...
Но помнилась, мучилась мысль:
— Неправда, неправильно это,
и ежели жмёт — разожмись.

Как роза раскройся, как надо:
в бредовый и брачный союз
с населием райского ада,
с личинками звёзд и медуз

по Босху слепляясь... А разве
ночной и прелестный улов
не ад? Но, как сказано, «райский»,
и тот же зверинец — любовь.

Тобою налюблено столько,
и мною настраждено столь,
что было в разлуке жестоко
держать от леленья — боль.

То ль, это ль — а сущность едина.
Сливаются в радужный сплав
косая красивая Нина,
кривой молодой Владислав.

нояб. — дек. 1993
Шампейн, Иллинойс

НОКТЮРН

Звёзды — это мысли Бога
обо всём, о нас:
обращённый к нам нестрогий,
но — призор, наказ.

Свет осмысленный — от века
и сквозь век — до дна.
Заодно — души проверка:
а цела ль она?

Не совсем без порицанья,
прямо в нас и вниз
льются светлые мерцанья
как бы сквозь ресниц.

Это — звёзды, Божьи мысли,
святоточья течь.
Поглядеть на них — умыться
перед тем, как лечь.

Знаю: взрывы и пульсары,
лёд и гнев огня.
Может быть, такой же самый
такт и у меня?

Я ль тогда, как белый карлик
в прорвах чёрных дыр,
вдруг — случайный отыскал их
смысл: зенит, надир?

Этот знак, души побудка,
Божья звездоречь
обещают: будут, будто,
ночь меня стеречь.

Ну, а днём что с ними делать:
карту Мира смять?
Было мук у Данте — 9.
у меня — их 5.

5 неправых нетерпений:
чтоб сейчас, и здесь
непременно, и теперь, и —
«бы», — чтоб стало «есть».

И, мою смиряя малость,
в душу луч проник,
чтобы гнулся, не ломаясь,
мыслящий тростник.

Шампейн, июль-август 2003

ПОЛЕНОВО

Ю. К.

Радость отныне вижу такую:
соловьиная ночь над Окою...
Можно ль теперь так писать?
Можно. Пиши — если видишь чрез око
Анны Ахматовой; голосом Блока
пой аллею и сад.

Свисту заречному несколько тактов
дай для начала, и сам оттатакай.
Трелью залившись, услышь
(миром сердечным на мир и ответив),
как отвечает мерцанию тверди
мимо-текучая тишь.

Странно и струнно рекою струима
песнь хоровая, как «свят» херувима, —
весть это тоже и свет.
Даль — это высь, это глуби и блески,

и горловые рулады, и всплески;
«да» это может быть «нет».

Жизнь это может быть миг. Он огромен,
и ничего как бы не было, кроме
длящегося через годы «сейчас».
Жизнь отныне вижу такую:
блеск, мрак, соловьи за Окою,
труд, боль и гора, пред коей
яро горит свеча.

5 июня — 21 окт. 2003 г.
Поленово — Москва

ПОСЛЕДНЕМУ

Последнему из нас, увидевшему осень,
достанется совсем не Бог весть что, а вовсе
лишь листья палые на подступе зимы.
Они и суть по сути дела мы.

А некогда, в одной топорщась купе,
всяк по себе шумел, все трепетали вкупе,
и был напечатлён у каждого из нас
прожилками — узор (один и тот же): знак.
Знак древа общего, конечно, не простого,
с вершиной — в прорубь вечного простора,
с ветвями, — каждая, как говорящий жест,
держающая секиру, лиру, жезл

или гнездо, в котором 5 яичек...
В прыжках и порхах беличьих и птичьих,
извилисто ища в подпочвенной ночи
истоки, родники, колодцы и ключи...

То древо царственной могло быть сикоморой,
от масел — в ароматах, под которой
навечно задремал, едва прилёг,
бедняга и гордец, страдалец Гумилёв.

Иль это тёмный дуб, где Михаил, сын Юрий,
сквозь трепета листвы пред-слышал пенье гурий.
Там, на цепи золотой, не кот, скорее бард
вдруг заднею ногой поскрёб свой бакенбард,

элегию мою насмешливо испортив.
Ну что ж, и так её закончить я не против,
но прежде попытат свою судьбу, а ну-к?
Я б нагадал не дуб, а чёрный бук,

что рыжеват весной, но, матеряя летом,
он в полдень, словно полночь, фиолетов,
а под густой и траурной листвою
почти не разглядим бывает гладкий ствол.

В далёком, но моём — средь прерий — Лукоморье
сей бук спокойно, как *temento mori*
из уст философа, себя во-всю гласит,
и правота его мне прибавляет сил.

Пока стоит — стою. Стоим. Летят листочки,
все буквами испещрены до шпента и до точки.
А как придёт лесник с бензиновой пилой,
взрвёт и зачадит, и дерево — долой.

Шампейн, Иллинойс, июль 2003

ИЗДАТЕЛЮ

*Книга-то ещё и не издана
и тем более — для гаданья
пальчиками не перелистана...
А поэзия — это поющая истина.
Не навеки, так — на года...*

*Неужели это только с виршами,
или может и другой художник
выразить произносимое свыше?
Думаю, что да, тоже.*

*Ежели сказал, не солгав его,
в слове будет и смысл, и цвет, и вес,
и, конечно же, вкус, а главное —
верная и о главном весть.*

*Вылепленное, оно — как пляска,
а в цвете, — ещё и певчее, вещее...
Сдобное, это же и есть пасха
для тебя, человеке.*

*Люди — всего лишь миры, не более...
У любого мозг — полярный ледник.
Сердце — солнце. Океаны болями
и наслаждениями плавают в них.*

*Вот им оно и надобно, бесполезное,
но почему-то позарез и вдруг:
это баловство со словом, — поэзия,
млекопитающая, как грудь.*

ДОПОЛНЕНИЯ

О СТИГМАТАХ

«Стигматы» — не для всех. По крайней мере, не для всех сразу. Хотя в принципе они могут быть прочитаны каждым, но только отдельно от остальных. «Стигматы» трудны, и местами — особенно, когда читаешь с разгону — могут быть непонятны. Но если смысл ускользает, это не значит, что его нет. Он есть, его полно в каждом слове, в каждой букве, а порой даже в знаках препинания. В таких местах, наверное, следует довериться тексту, его движению, его звучанию, — тогда и смысл проясняется, вдруг обнаруживаясь в динамике слов и строф, в их произнесении, а иногда и в графике написания: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Современно ли содержание «Стигматов»? Конечно, нет и, конечно, да, ибо вечность происходит разом во все времена, включая и вот эту, теперешнюю секунду, пролетающую сквозь нас. В дальних перспективах она существовала всегда, в веках, прилетев к нам оттуда, а потому — равно — в вечности и сейчас, при нас и на наших глазах распинается Иисус Назорей, Царь Иудейский, как обозначил его римский наместник Понтий Пилат надписью на Кресте.

Странно ли современному человеку задумываться о конечных вопросах? Странно. Так, по крайней мере, казалось мне самому в то время, когда я начал писать эту вещь, начитавшись как европейских, так и русских философов-идеалистов. Кстати, я до сих пор удивляюсь, что находятся люди, отрицающие само существование русской философской мысли. Не буду здесь перечислять великие, дорогие для меня имена, скажу лишь, что именно в их трудах прояснялись не умозрительные, а самые насущные, бытийственные темы: такие, как смысл жизни, назначение человека, Божественный промысел и конечные цели человечества и мироздания... В ре-

зультате интенсивного чтения и собственных размышлений во мне произошёл, как теперь это называют, информационный взрыв. Не знаю, можно ли это назвать откровением, но многие из упомянутых вопросов озарились новым пониманием, а оно, в свою очередь, потребовало от меня выразить его в словах. И я начал писать стихотворные композиции: сначала «Из глубины» и «Медитации», а затем и «Стигматы», которые были задуманы как предстояние перед Распятием и в идеале (вероятно, недостижимом) стремились стать словесной иконой.

Сам факт такого рода творчества мог показаться для верующих недопустимо дерзким, и я, действительно, имел на эту тему пространную дискуссию в письмах с поэтом Станиславом Красовицким, который отрёкся от своей ранней поэзии, принял сан священника и служил уже не поэтическому слову, а Тому, Которое с большой буквы. Не одобрял он и моих устремлений.

Но мои излюбленные философы пришли на помощь. Если Творец создал человека по своему образу и подобию, значит, его создание — это тоже творец, сотрудник и подмастерье великого замысла. «Мир не сотворён, но сотворяется», а потому для людей уготовлена уйма творческих дел, и одно из них — это познание. Познание Добра и Зла, познание великой тайны Распятия.

Когда я стал о том размышлять и записывать эти мысли, слова сами собой стали открывать пути для понимания всё дальше и дальше. Но ещё более я уверился в праведности своего занятия, когда прочитал проповеди своего соименника XVII века Святителя Димитрия Ростовского. Он писал:

Поклоняюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на десной Твоей руке и молю Тебя, Господа моего: сподоби меня стать одесную Тебя.

Поклоняюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на шуй Твоей руке и молю Тебя, Господа моего: избави меня от шуй участи.

Поклоняюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на правой Твоей ноге и молю Тебя, Господа моего: настави меня на правый путь покаяния.

Поклоняюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране на левой ноге и молю Тебя, Господа моего: «От всякаго пути лукава возбрани ногам моим» (Пс. 118:101).

Поклоняюсь пречистой, пресвятой и животворящей Твоей ране в пречистых ребрах и в прободенном Твоем сердце, откуда истекла кровь и вода на искупление наше, и молю Тебя, Господа моего: сокруши окаменение мое, порази мое жестокое сердце, сотри его страхом Твоим, уязви его любовь Твою, чтобы Тебя, Господа моего, я возлюбил всем сердцем моим, всею душою, всею мыслию, всей крепостью и всем помышлением моим и чтобы потекли из сокрушенного моего сердца слезные источники, омывающие мою греховную скверну.

Именно так я и построил «Стигматы»: они состоят из пяти частей, по числу ран Христовых. И каждая из них имеет посвящение моим современникам и современницам, которыми я восхищался и желал, чтобы они разделили моё предстояние перед Распятием.

Эта композиция заключила мою первую книгу стихотворений и поэм «Зияния», изданную в Париже в 1979 году. Она напечатана также в книге поэм «Петербургские небожители», изданной в Нью-Йорке в 2020 году. «Стигматы» можно найти и на моём сайте: <http://dbobyshev.wordpress.com>

Автор

СМЫСЛ МОЛНИИ

Д. Бобышев, «Стигматы»

Смысл молнии не выгрохотать грому.
Но в судорогах свято-световых
она и узрит весть яркоогромну.
Здесь перегиб сознания на свих
с лихвой окуплен целокупным словом...

Появление «Стигматов» в русской поэзии XX века могло показаться запоздалым отголоском средневековых западно-европейских настроений, и поэма была бы не более чем массивным образцом давно вышедшей из моды религиозной бижутерии, если бы не была поэмой о трагичности человеческого познания. Хотя «Стигматы» целиком сотканы из религиозных образов и религиозной символики, используются эти образы и эта символика не в себе и не для себя, а лишь в качестве метафор для уяснения проблемы познания. Поэт, ощущающий себя «человекотекстом», берёт на себя ответственность за человеческое «полузнание-полубезумие» — он несёт эти стигматы в себе.

Тема познания проходит через всю поэму — от первого до последнего стиха. При этом на «поэтической призме» она дробится на несколько взаимосвязанных и взаимопроникающих тем: человеческое фрагментарное знание как терзание живой Истины, стигматы как целительные грозди таинственной лозы, «красное смещение» Слова из потенциальности в актуальность, существование мира и жизни как казнь для Слова, наконец, литургия как совмещение мгновения текущего и вечного, как напоминание о глубокой трагичности самого мироздания.

Структура поэмы символична на всех уровнях, начиная с деления её на части: пять частей поэмы соответствуют не только пяти стигматам, но и пяти буквам раненного имени,

причём «чтение» этих «букв» происходит снизу вверх: сначала речь идёт о стигматах на ногах, затем — о стигмате в сердца, и наконец, о стигматах на ладонях. Так, благоговейно, снизу вверх взираем мы на икону.

1

Поэма начинается с поэтической медитации перед иконой Распятого.

Порожний череп в чей-то след
здесь, у подножия повержен.
И — пёстрый ультрафиолет
в зубах пронзительных воздет.
И свет — и прозревают вежды.
Да, на былых зияньях прежде
зиявших, я поставил зет.
И вот, зевающие бездны сомкнулись.
И меня приведший
Путь восстаёт — иного нет.

Под крестом, согласно православной традиции, лежит пустой череп как символ ветхого Адама: Христос своей смертью попирает смерть. В контексте поэмы это ещё и символ отжившего человеческого познания: после бесплодных поисков истины на путях человеческих («былые зиянья») внезапно возникает понимание («прозревают вежды»). Пути поиска истины приводят к Кресту: «Путь восстаёт» — из земного горизонтального путь становится вертикальным, направленным к небу. При этом исчезает праздное любопытство прежде увлекательных загадок бытия: «зевающие бреши» бытия сомкнулись.

От полузнания — вдвойне
гвоздится Модус новой жизни
в воронке узкой, там, на дне
во мне и — запредельно — вне,
полубезумием пронизан.

Полузнание есть полубезумие, и оно начинается в самом познающем: в органе его речи и ещё глубже — «в воронке узкой». Язык, принцип которого дискретность в противоположность континуальности созерцания, дробит единый и неделимый, всегда себе адекватный божественный Глагол на «тучу флексий, тьму корней». Этот Глагол есть некий Сверхпредикат — то, что можно высказать о Слове как Сверхсубъекте. Дробление Глагола есть явление не только внутренне-человеческое, но и объективно-космическое, о чём подробнее говорится во второй и четвёртой частях.

Стигматы — страшные плоды крестного дерева одновременно и гроздь таинственной лозы — «снадобья от смерти», противоядие для отравленного яблока с райского дерева познания. Только пережив в себе крестную трагедию, можно достичь метаноии — обновлённого сознания. Интуитивное прозрение как результат структурного сдвига в сознании приводит к пониманию Креста как основы жизни и вообще мира:

И, — челом — чуть вправо, книзу, —
в каждом сходе двух осей
жизнь — познанием казнится
всюду, в явленности всей.

2

Во второй части поэмы внешний, феноменологический подход сменяется внутренним, идущим как бы от самого органа познания. Если первая часть начинается с «порожного черепа», то вторая — с «мыслимой фасоли» — двух полушарий мозга, в центре которого расположен «теменной значок» — орган духовной интуиции («третий глаз» по терминологии Платона). Божественный луч — упомянутый в первой части «ультрафиолет» — встречает ответное движение души.

Истинное знание небезопасно: «жалом ужасает». Для эффективного совмещения двух движений нужно знать, куда следует направить сознание: вертикально вверх — в первой части на эту же вертикаль указывает Крест.

Однако естественное движение души не так просто достигает цели: сознанию не даётся объективная истина, она представляется ему «полым нулём» («божественным ничто» Дионисия Ареопагита), так что разум смотрит сквозь этот нуль сам на себя — как в зеркало. Но обыденное оптическое зрение фрагментарно — «зернисто», поэтому единственность и единичность заменяется «тьмою числ».

Жаждающий влаги жизни ум движется сквозь «пустые толщи мира» — «полувывсохшие рацеи», то есть через научные теории физической материи, физиологии, психологии, социологии и т.п. Необходимая для умственного трилистника влага конденсируется в виде Креста: «счастливый водопад» Нового Завета прививается «живой почкой» к усохшему уровню Ветхого Завета (в тексте «уровень» и «отвес» написаны в виде креста). Здесь двойной образ: прививка нового саженца (крестного дерева) к райскому дереву познания, и в то же время уровень и отвес — это плотницкие инструменты, которыми Иисус, как сын плотника, несомненно, владел.

Поэт видит всё бытие пронизанным идеей Креста: каждая точка пространства есть пересечение бесконечностей, то есть, не бесконечность состоит из точек, как полагал Евклид, а наоборот — как это понимает современная математика. Поэтому любой конечный объём наполнен трагедийностью бесконечного пространства. По той же причине и жизнь «познанием казнится всюду, в явленности всей». Земное знание постыдно, ибо анализируя, рвёт на части Истину. Стигматы — «гроздь таинственной лозы» как «восполнение отчего сада», служат противоядием от отравленного дьяволом яблока познания добра и зла.

В третьей части тема познания даётся в космическом аспекте: крестные страдания заложены в основе бытия. Само возникновение мира — это своего рода «красное смещение» — транспонирование чистой божественной потенциальности в материальную конкретность мира. В замысле, Логос как некий сверх-субъект и Глагол как сверх-предикат (то, что может быть высказано о Слове-Логосе как субъекте) слиты в нераздельности:

Логос Глагола благого
емлет единой Главой
плазменно плавая, — Слово ...

Соизволение Бога к свободе и творчеству человека приводит к тому, что извечное Слово (ассоциируемое с музыкой — изначальной гармонией бытия) переходит в стихию света, который далее «замедляется» до материальности:

Слово, помрачаясь в луч,
замедляется до тканей ...

Чистая осанна как славословие Богу может звучать лишь в потенциальности, в актуальности же, в дискретном мире возникает нечто иное:

Паузой в музыке — Рана,
струнный разорванный лад.
Равноразмерная миру
язва зияний. Стигмат.

Само существование мира болезненно для Бога: мир интерпретируется как копьё, вонзившееся в божественное тело, орошаемое божественной кровью, согревающей наш сырый

мир. Здесь божественный «ультрафиолет» — сверхмощный, сверхчистый, невозмутимый и неотмирный — сгущается до красного протуберанцевого цвета крови. Этот красный цвет и выкресал жизнь: красный цвет — горячий, кричащий — символ крови, символ жизни.

В потенциальности Логос и Глагол слиты в нераздельности («плазменно плавая»), в то же время эта плазма есть «вода и кровь абсолюта», вытекающая из пронзённого сердца Иисуса. Соизволение Бога к свободе и творчеству человека приводит к тому, что это извечное Слово — осанна как ангельская музыка — транспонируется в свет. Так что первостихия — это музыка, свет происходит из неё, он уже вторичен. Однако чистая музыка-осанна существует лишь в потенциальности, в актуальности же она прерывается: «пауза в музыке — рана». Стигмат — «равноразмерен» миру, то есть само возникновение мира из ничего болезненно для Бога: мир интерпретируется как копьё, «вогнанное в Рёбра к Надиру Вечности» (надир — точка небосвода, противоположная зениту). Божественное Сердце орошает осиротевший мир своей кровью.

Дальнейшее «красное смещение» божественного «ультрафиолета» создаёт «строительный луч» — созидательный, сверхмощный и в себе невозмутимый, который сгущается до «протуберанцевого» красного. Этот цвет «выкресает» жизнь (ср. в пятой части: «о смерть, о твердь бьёт отчее кресало»). Всё живое тянется к своему Создателю, чтобы зачерпнуть истинной жизни из неотмирного родника, Но лишь людские «разумные орды» могут влиться в грудь Творца, да и то не все сразу, а сначала — богоизбранный народ. Однако народ этот, растивший «неуклонно праведных сорок колен» не заметил результата своего подвига. Грех иудеев заключается не столько в том, что Иисус Христос был распят, сколько в том, что они дали надменно неверную оценку происходящему на их глазах, полагая, что казнят самозванца: «дважды облыжно» —

во-первых, Иисус не был самозванцем, а во-вторых, «казнить» Сына Божия невозможно. Так что их набожность и устремлённость к Богу расценивается поэтом как «сверление зенита бельмами».

Само же распятие интерпретируется на языке христианского храма и литургии: закомар, абсиды, клирос — части храма. Копие, дискос, чаша — литургическая утварь (копием разрезается просфора). Причащение кровью Спасителя необходимо для вымывание из нас «греха вещества» — греха материальности. «Вечная с временной» кровью создают кровь новую, богосыновью — для расколдования мира от лжесловья:

Мы, воплощаясь в слова,
Словом единым радеем,
чтоб из оков вещества
выпал заплаканный демон.

4

Четвёртая часть посвящена полемике с научным подходом к тайне мира. Для поэта «дух среди небесных тел» неприемлем, поэт не может считать галактические пространства святыми далями. Всякие глубины и дали поэт воспринимает лишь как метафору истинной глубины, как помощь нам со стороны Бога:

...в любви о нас
так серебряно-сиренев
мир, что нам раскрыт как глаз...

Всё это — одна любовь, «выраженная даже и в пейзаже». Однако то, что для нас утешение и радость познания, для божественного эфира — рана:

видимый надрез эфира
мучится, рябит вдали:
ранена тепло и сыро
в нём просвира.

Просвира (просфора) здесь символизирует тело Господне: агнец — центральная часть просфоры.

Из божественного эфира — божественной самодостаточности — исходит Слово как добровольная жертва. Повторяется мотив третьей части: «красное смещение» слова как постепенный переход к материальности. Мысль «помрачается в луч»: по сравнению с музыкой-мыслью даже свет есть мрак, затем этот луч («денница») густеет, превращаясь в «телесную звезду» — стигмат в ладони. Эта звезда испускает «ломоту лучей» как в божественное тело, так и в мир. Здесь возникает переключка со второй частью поэмы: «будет ли тогда напрасна, если так любовна боль?». И даётся ответ: человеческие страдания необходимы для спасения вещества: «нами быстрыми жива, страдает медленная глина». Эта «глина» и тот прах, из которого состоит человеческое тело, и тот, в который ушли все предыдущие поколения людей. Назначение человека — спасение мира, спасение протяжённой материи, которую мы можем даже в смерти «укрепить собой, и путём зерна и роста с ней бороться».

И наконец, стигмат в сердце, из которого вытекает кровь и вода новой жизни. Этот поток — неотмирный: он бьёт «мимо тяготенья», он топит собой все иллюзии человеческого сознания. Льётся он в Грааль, в чашу небесной тверди: «в грань лазурного излома окоёма». Умчавшая поэта «кровь быстрая и не моя» вызывает страх: «вправе ли стоять у чаши», отчаяние вызвано отчасти и тем, что ближайший друг и в некотором смысле наставник поэта, которому была посвящена четвёртая часть поэмы, имел иные взгляды на сущность богопознания.

Назначение человека — спасение протяжённой материи,
человек расколдовывает мир:

Всей полнотой естества,
на зло и зло— и лже-словью,
мы, воплощаясь в слова,
Словом Единым радеем,
чтоб из оков вещества
выпал заплаканный демон.

5

В пятой части познание интерпретируется как проникновение в божественную троичность. Здесь поэтический апофеоз, это самая вдохновенная и поэтически совершенная часть поэмы. Соединение расколотого человеческого сознания (две доли «мыслимой фасоли») воедино — это «переход на-Я». Это не что иное как созерцание («Я» как вход во всеобъемлющую реальность): «мы внутри себя выходим за пространство». Мысль проникает «в грозное ядро, в зеницу знания, в опережение причин» — то есть в ненаблюдаемцю онтологию, «где всяк есть все» (ср. санскритское тат твам аси — то есть ты). С точки зрения рассудка эта божественная сверхмысль есть «перегиб сознания на свих», что однако «окупается целокупным Словом» (всеединством) в противовес казнящей это Слово фрагментарности человеческого знания. Троичность изображается здесь графически — треугольником, при этом используется «плотницкая» терминология: «стыкован и слицован»: здесь так и слышен стук молотка (стыкован) и шелест рубанка (слицован). Два наложенных друг на друга треугольника — небесный и земной — образуют Давидову звезду как символ единства неба и земли.

Раздвоенное человеческое сознание вводит в себя «светодух», который делит сердца по «кромке спая» с любимым

сердцем: «победа трёх далась бедою двух» (победа — трёх-
сложное слово). Мысль не выдерживает нагрузки взаимоболи
и гнётся, так что «лишь немного истины из лжицы душа род-
ная, ужасаясь, ест» (лжица — не только маленька ложь, но и
ложечка для причащения). Истинное знание — проникновение
в божественную Троичность. Соединение расколотого челове-
ческого сознания (символизируемое двумя долями «мысли-
мой фасоли») воедино и есть созерцание как переход «на-Я»:

И мы в меня, и Я в Себя за Нами
самовкликаем в пение пучин.
И в грозное ядро, в зеницу знанья,
где всяк есть всё, и Я неотличим
от Моего Меня же — Мне другому.
Туда, в опережение причин!

Интуитивное прозрение это молния мгновенного понимания,
яркий смысл которой не выразить рассудком: «смысл молнии
не выгрохотать грому». Но человек может находиться в боже-
ственной сфере не более мгновения, почерпнув из неотмир-
ного родника, ему нужно возвращаться в этот мир. И это про-
исходит как второе рождение, как воскресение: новая жизнь
высекается «Отчим Кресалом» из самой смерти:

О твердь, о смерть бьёт Отчее Кресало,
чтоб Тихоогненный Христос воскрес.
В мозгу гнездится молния-красава,
и в судорогах, в срывах световых
завязывает буквицу кроваво...

Истинное знание это чтение божественного Имени «по
буквам»:

Твой каждый звук есть Рана и Союз,
и мёд, и яд, одним гудящим ульем!

Буквы вспыхивают в мозге как молнии. Каждый звук именованья Бога это одновременно и рана и союз: И, С, У — одновременно и соединительные союзы и междометия боли:

И — выкриком на-И исходит вихрь,
Связует Эс с Собой свободой уз,
У втягивает душу поцелуем.

(по преданию Бог принял душу Моисея поцелуем).

Этот улей одновременно жалит и жалеет, исцеляет: мёд и яд как снадобья от смерти.

* * *

Если своей семантикой и крупнейшей синтаксической структурой поэма напоминает икону, то своей строгой архитектуроникой, иерархичностью структур, тончайшей отделкой, детализировкой, фонетической «оркестровкой» она напоминает готический собор или классическую симфонию. Роднит поэму с европейским искусством прежде всего наличие в ней дальнего порядка, сквозного единства. В отличие от европейского искусства восточное, как правило, живёт лишь ближним порядком, и отсутствие дальнего порядка делает его как бы аморфным, бескостным. Эта бесхребетность восточного типа проникла уже и на Запад, что по времени совпадает с дехристианизацией Запада, так что можно предположить, что строгое и стройное искусство есть искусство христианское по преимуществу.

Высокая упорядоченность достигается чёткой и разнообразной ритмической тканью поэмы и безукоризненной рифмой. Её поэтические образы можно разбить на иерархические слои. Прежде всего это всеобъемлющие, как бы «глобальные» метафоры, проходящие через всю поэму: «Слово»

как человеческая специфика — и как божественная Ипостась. «Крест» как восполнение Отчего сада — и как пересечение бесконечностей (координатных осей). «Мысль» как человеческая интуиция — и как божественная благодать. Этим глобальным метафорам подчинены локальные: «двойка рыб» — две стопы и одновременно раннехристианский символ Ихтос (аббревиатура «Иисус Христос, Сын Божий Спаситель»). «Телесная звезда» — загустевший Свет и одновременно стигмат в ладони. «Уровень и отвес» — водопад Нового Завета, оживляющий успокоенную гладь Ветхого Завета, — и одновременно плотницкие инструменты.

А вот метафоры на грани семантики и синтаксиса. «Иллюзорно блещет зернью наверх потаённый лаз» — ложная попытка проникнуть в высший мир путём построения структурированных его моделей. «С говорящего снопа зернь чернеет изумлённо, миллионно» — человечество взирает на Голгофскую трагедию. Наконец, чисто синтаксические и фонетические структуры, игра слогов и звуков: «победа трёх далась бедою двух» (победа — трёхсложное слово). Мельчайшая фонетическая структура, своего рода поэтический мелизм — зияние — предмет особого пристрастия поэта, что связано с его любовью к церковно-славянскому языку, столь богатому зияниями: «он лиёт, играй в Грааль». Но зияния — не просто поэтические украшения, они неожиданно приобретают глобальную семантическую окраску, намекая на трещины в коре бытия, позволяющие проникнуть в смысл, в тайну: «в грозное ядро, зеницу знания».

Совершенно необычен и такой сверх-формальный приём как использование стихотворной графики: в тексте поэмы содержатся кресты греческий, латинский и русский православный, треугольник, звезда Давида, и наконец, само Распятие. Применение стихотворной графики добавляет новую симметрию — за счёт использования двухмерности письменного поэтического текста. Несмотря на свою необычность этот приём

не вызывает отторжения: в европейской традиции поэтическая речь давно перестала быть явлением чисто акустическим, она уже насквозь пропитана спецификой письменного текста, что само по себе даёт право использовать те возможности, которые даёт поэту письмо.

В высшей степени символична концовка поэмы: она заканчивается словом ИИСУС, написанном в виде распятия и прочитанным снизу вверх, так что вся поэма не заканчивается точкой, она заканчивается началом Божественного Имени: сколько бы человек ни знал, он ещё не дошёл до самого начала Книги Знания.

Станислав Яржембовский

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Корпус Бобышева</i>	5
Несколько первых цветов	9
«Где ты бываешь?..»	9
Минне	11
«Со мною девочка идёт, Наталья...»	11
Солдатский треугольник	12
Там были дома.....	13
«Когда пойдёт военный эшалон...»	14
К запуску космической ракеты	15
Февраль на Таврической улице	16
Песенка из кино	17
«Словно четыре стороны...»	17
«Земли-планеты населённый глобус...»	18
Элегия	20
Нонне Сухановой	20
Дом книги	23
Я живу	25
Псалом	27
Мадригал	28
Ещё более чем раньше.....	29
Свидание	30
«Моя свобода и твоя отвага...»	32
«Взгляд, отталкивание, дыхание...»	32
«В сердечный переплёт...»	32
«Зима-хрустальница, прости, что строгий блеск...»	34
Портрет	34
Идиллическая ода	35

Белое и голубое	37
Облака	38
«Вот солнца луч. Он точит ли стекло?..»	39
«Чем правит человек?..»	41
Анатолию Найману	42
Наталии Каменцевой	42
Наталье Горбаневской	45
Школа зимних пейзажей	47
Дни	48
В руки Н. Н.	49
Движение в морском пейзаже	50
Анне Андреевне Ахматовой	51
Его же словами	52
Трое	53
Раннее средневековье	55
Читайте вывески	55
На арест друга	56
День года	57
Новые диалоги доктора Фауста	58
«Себе, преображенному, навстречу...»	68
Счастье с припевом	68
Иосифу Бродскому	69
Небесное в земном	70
День родин	97
Прощанка	100
Из северных странствий	
«Сентябрь, октябрь, ноябрь...»	101
Коготь	102
В небесной мастерской	104
Низкое место	104
Троица	105
Когда идет гроза	106

Вечная весна	106
Отвратясь.....	107
«В руках у сплавщика дела решает вага...»	108
Утро вечером	109
На краю	109
Забывшему свет	110
Любой предлог (Венера в луже).....	111
Как топор без топорща.....	111
Строки	112
Федосья Федоровна Федотова.....	113
Богатырская молитва.....	115
Возможности	115
Траурные октавы	
Голос	117
Воспоминание.....	117
Портрет	118
Взгляд	118
Перемены.....	118
Все четверо.....	119
Встреча.....	119
Слова.....	119
Спрявленные пути.....	120
«Все греки были юными, не так ли?..»	121
Сонет	122
Будетлянин	123
Слова	124
Поэту	125
Грифельная ода.....	126
Бортнянский	127
Попытка тишины	128
СПб	131
Виды.....	132

«Крылатый лев сидит с крылатым львом...»	134
Голубка	135
«До чего же она неказистая...»	137
«Тебя, тоскуя о твоей пропаже...»	139
И зрение, и слух	140
Из глубины	
1. «То ли вишенье, то ли буру...»	141
2. «Что ни час, то неровен...»	142
3. «Дух со следами огня...»	142
4. «Куда с паденьем Люцифера...»	143
5. «Из глубины земной, воздушной, водной...»	143
«В груди гудит развал...»	144
Медитации	
1. «Покатой глубиной утолена...»	146
2. «Воздушное струенье...»	147
3. «Не отрицаю: знаю — не достоин...»	150
Цветы	
1. «Знаю, возможно... А ветрениц вислюю стаю...»	151
2. «Невероятный двукратный восход, я б сказал...»	151
3. «Резвый цветок! А вот новый, из розовых линий...»	152
4. «Но едва ль тут сирени сырые провалы уместны...»	152
5. «Но начинается страшная роза...»	152
Ты	153
Сюжет из Жуковского	154
Мгновения	
1. «Ты, единственный, дымный, чадающий...»	155
2. «Хоть на полглотка — неполная...»	155
3. «Жизнь, мистический Грааль!..»	155
4. « В куче листьев чернея, краснея...»	156
5. «Ты не забыла о дворцовой церкви...»	156
6. «Научившись кой-чему из книг...»	157

7. «Обломки льда лежат на льду же...»	158
8. «Тебе, королева мгновений...»	158
9. «Колосс родосский...»	159

Волны

1. «Кто живущий у волн не знавал...»	160
2. «Пока волна не вышла на разрыв...»	160
3. «Темных, древних движений полна...»	160
4. «Порядок не откроет совершенства...»	161
5. «Гляди: гнездо воды надежно разрыто...»	161
6. «Косо крест...»	161
7. «Перепоясан лимбами долгот...»	161
8. «Сначала по кругу походит...»	162
9. «Дивно, страшно вскинута нога...»	162
10. «Лазурные кристаллы зла...»	162
11. «От будущего в прошлое — смотри-ка...»	163
12. «Глянет нагими свободами...»	163
13. « И гибели страшась, и с гибелью играя...»	163
14. «Чем полнее волна заберет...»	163
15. «Не ведает волна своих глубин...»	164
16. «Можно уловить любовный очерк...»	164
17. «Волна то вспыхнет тускло-голубым...»	164
18. «Ты ли, как было глаголено...»	165
19. «Создатель новизны любого дня...»	165
20. «Ведома двойная глубина...»	165

Вся в пятнах

1. Начало.....	166
2. Пятно.....	166
3. Взгляд.....	166
4. Воздушные пути.....	167
5. О прохладе	167
6. Посредине	167
7. Поляна ждет	168

8. Земляные ходы	168
9 . Перемена	169
10. Без конца	169
Звёзды и полосы	
1. Полоса озерная	170
2. Тот свет...	170
3. Звезда	171
4. Большое Яблоко	172
5. Индейское море	174
6. У пожирателей лотоса	175
7. Лесная полуполоса	177
8. Полнота всего	178
9. Милые Оки	179
10. Полоса пустая	180
Жизнь урбанская	
1. «Приезжай! Здесь, представляешь: небо...»	181
2. «Осеняемый клёном и ясенем...»	183
3. «А если Вену, Рим, Берлин или Париж...»	185
4. «Кто отхватил сии: и земли, и стада?...»	187
Ода воздухоплаванию	
1. «То — над листвою орехов и платанов...»	189
2. «Нет, с пылу...»	190
3. «Как это облачко, что с небосклону...»	190
4. «Но, если звук фанфарный выдуть зримым...»	191
5. «А вот веретеном раздутый гол...»	191
6. «А этот — без примет, и — в чёрном, некто...»	191
7. «Да всё тут — сверхъестественная явь...»	191
8. «Все слуги королевские подмогой...»	192
9–96. «О, нет не только! Формы, краски, пятна...»	192
97–102. «Фазан-петух летит, горя как феникс...»	192
103. «Кто — эта? В ней всё ладно, всё с руки...»	193

Облики

1. «Блеснёт высокоскулая раскосо...»193
2. «А эта вот: не тоже ли оттуда?...»193
- 3–4. «А смуглая, она (оно), — иное...»194
5. «Те облики легки — кто: вечер...»194
6. «Куда тебе, гляделец лиц!.. Младое...»195
7. «Взгляд отводя, очнёшься: от чего же?...»195
- 8–9. «И — вновь уловлен... Чем? Поводкой брови ль...»195
10. «Как ни хмелён тяжёлый винный улей...»196
11. «А: вот какой закончу (ну же, ну же!)...»196
12. «И только с ней благославенна узость...»196

Тыквенная комедия197

Два белых пиона

1. «Она мне была нужна...»199
2. «Те желанья, словно Арктуры, Веги...»201
3. «В облике этом известная сила...»201
4. «Два белых пиона...»202

Жизнь кадета Евгения Гирса

1. «Рос на свете русский мальчик...»203
2. «Как узнали кадеты...»205
3. «Умирай, кадет, не зря...»205
4. «А вороны: карк, карк...»206
5. «Кашей кормит — а не друг...»206
6. «Не победа — свобода...»207
7. «Нужно есть. Чертить и клеить...»207

Ксения Петербургская

1. «Ну, что с того, что пил?.. Зато как пел “Блаженства”!...»208
2. «И, нищелюбая, бредет она — раздавши...»209
3. «...И вдруг прошло два века...»210

Русские терцины211

Петербургские небожители

1. Престолы256
2. Силы258

3. Души	260
4. Крылья	261
5. Паруса	262
6. Столпники	264
7. Славы	265
8. Шары	266
Вещественная комедия	268
Звери Св. Антония	
1. Испытание творчеством	290
2. Пантера	291
3. Рыбы	292
4. Змеи	293
5. Слон	295
6. Муравьи / Термиты	297
7. Единорог	298
8. Пожирание мамонта	299
9. Ночные бабочки	300
10. Метафизический зверь	302
11. Обезьяна	303
12. Грифоны и гибриды	305
13. Павлин	307
14. Павлин белый	308
15. Феникс	310
16. Свинья	311
17. Собственное тело	313
18. Заклятие зверей	315
Стигматы	317
Ангелы и силы	338
Прописи	345
Перо и кисть	347
Зеркально	349
Держись меня	351

Письмо	351
Брату	352
Возврат.....	353
Наставники	355
Ефиму Славинскому.....	356
Воспоминание.....	357
Об империи	357
Опыт Виньковецкого	359
Товарищ-генерал	361
Польше.....	363
Отель.....	364
Константинов № 8.....	367
На раскопе	369
Бант	370
По живому	372
Страсти по царю	377
Троцкий в Мексике.....	380
Абсурд с неприличием.....	381
Яшина веревочка	382
Светла	383
Физиономии.....	384
Реки	386
Города.....	388
Счастливый человек	391
Холмы иные.....	393
Переселение	395
Юрию Иваску.....	396
Глаза в глаза	397
Три ноктюрна	
1. Ночь Иллинойская	398
2. Затмение.....	400
3. Комета.....	401

Четверо	403
Три малых ноктюрна	405
Anno domini MСMХI	407
Диана Англии	408
Жар-куст.....	410
Цикады, сверчок, светляки	411
Ното ludens	415
ночь после Рождества	417
В конце тысячелетия.....	419
Прощай и здравствуй	420
Гость.....	422
2000.....	423
Прежде всех век.....	424
Сердце мира.....	425
Цвет времени	427
Памятник в снегу.....	428
Эль Ниньо	429
Небесные врата	430
Зияния.....	433
Гибель «Колумбии».....	435
Внезапно голос.....	436
Чувство огромности.....	438
Молодая звезда	440
Похищение Европы.....	441
Леди Боинг	443
Стихи для Юлии	444
Quad	446
Университетская богиня.....	447
Театр теней	
1. Птичь	449
2. Тень Кикапу	450
3. Тень Иллайнавэка.....	452

4. Силуэты слависток	454
5. Тень Кихота	455
6. Цветотени	456
7. Шахидка.....	458
На вырост.....	459
Подмётное письмо	461
Поздние свидания	462
Владислав и Нина	464
Ноктюрн.....	465
Поленово	467
Последнему.....	468
Издателю	470

ДОПОЛНЕНИЯ

<i>Дмитрий Бобышев. О стигматах.....</i>	<i>473</i>
<i>Станислав Яржембовский. Смысл молнии.....</i>	<i>476</i>

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»

Заснована в 2023 році

Дмитрий Бобышев

КОРПУС

СТИХОТВОРЕНИЙ

И ПОЭМ

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова

Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. №2209

Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. а. 31,5

Гарнітура «Calibri».

Підписано до друку 11.03.2026 р.

Видавець Федоров О. М.,

«Друкарський двір Олега Федорова»

Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,

e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.

Лирический герой Бобышева — не расщеплённая личность, не двусмысленный Гамлет XX века, а цельная личность, как и в поэзии Осипа Мандельштама. В стихах Бобышева нет декадентства, нигилизма. Он улавливает небесное в земном; существо мира для него — и вещество, и божество. Человек для Бобышева — «частица умная, живая». Много русских голосов и гласов ввёл Бобышев в свою совсем не архаическую, но самую современную лирику. Всё в его стихах насущно нужно. Он понял то, что не смогли уразуметь другие поэты его поколения, упирающиеся в метафизику. Дмитрий Бобышев, как Иосиф Бродский и ещё два ленинградских поэта, входят в сонм ахматовских сирот. Ахматова их всех вела в просторные палаты российской поэзии. Бобышеву она посвятила стихотворение «Пятая роза».

Юрий Иваск «Похвала российской поэзии»

Словами этими хорошо полоскать воспалённый зев — зев буквального горла и разъявленной души. Говоря это, я не имею в виду, что стихи Бобышева «напевны» или «богато инструментованы». Музыка их разом и строже, и сложнее — как и подобает выученику акмеистической традиции.

Наталья Горбаневская «И зрение, и слух, и дух, и тело...»

В сущности, лирика Бобышева наиболее полно раскрывает себя в одной магистральной, скрыто пульсирующей теме: поиски смысла бытия ведут к переживанию бытия как чуда. «Жизнь — мистический Грааль» — утверждает поэт. Но что есть чудо в поэзии? Это — открытие «Небесного в земном».

Андрей Арьев «Искресатель»

Если говорить собственно о литературе, то 1966 год в Ленинграде прошёл для меня и для поэтов моего поколения под знаком первой официальной публикации стихов Бобышева. В альманахе «Молодой Ленинград» было впервые за полвека напечатано настоящего петербургское стихотворение — «Львиный мост». Его появление означало для нас надежду на конец позорного ленинградского периода литературы. Начиналась новая эпоха — эпоха уже не советской, а новой русской поэзии, это стало очевидно именно благодаря стихам Бобышева.

Виктор Кривулин «Словесность — родина и ваша, и моя»

В отличие от подавляющего большинства современников — да и предшественников — Бобышев — поэт Пространства. «Стали собственной одой воздух, золото, гранит...» Стихи Бобышева барочны, но прежде всего потому, что так они самым адекватным образом отвечают пространству, в котором и которым поэт воспитан. Барокко Петербурга, усвоенное, как язык младенцем, обнаружило перед ним свою модель и структуру в Пространстве вообще. Как для Мандельштама череп — «тара обаянья», единственная и высшая форма космизации «в пространстве пустом», так для Бобышева он олицетворяется конкретно в Городе, в свою очередь, олицетворенном в Гамлете: «Держит череп город-Гамлет».

Анатолий Найман «Паладин поэзии»

